ISSN 0131—0097



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА

№ 20 МАЙ 1989



НА ПОЛОТНАХ СИМВОЛЫ ВРЕМЕНИ

ПОЭТИКА БОРИСА СЛУЦКОГО

ЗНАК БЕДЫ



А БЕЗ УЗДЕЧКИ ЛУЧШЕ!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!





ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан 1 апреля 1923 года

№ 20 (3225)

13—20 МАЯ

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:
Демонстрация лошадей ахалтекинской породы (см. в номере материал «Золотая лошадь»).
Фото Александра ЛЫСКИНА

Оформление Н. П. КАЛУГИНА при участии Г. Н. СИДОРОВОЙ.

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.
Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп., на полгода — 10 руб. 38 коп., на квартал — 5 руб. 19 коп.

Сдано в набор 19.04.89. Подписано к печати 06.05.89. А 04438. Формат 70×108⅛. Бумага для глубокой печати. Глубокая печать. Усл. печ. л. 6,3. Усл. кр.-отт. 14,35. Уч.-изд. л. 11,55. Тираж 3 350 000 экз. Заказ № 469. Цена 40 копеек.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

Телефоны редакции: Для справок: 212-23-27; Отделы: Публицистики — 212-21-88; Международный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69; Искусства — 212-15-59; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Секретариат — 250-46-98; Литературных приложений — 212-22-13, 212-23-07.

Телефакс (международный) (095) 943-00-70
Телетайп (внутрисоюзный) 112349 «Огонек»

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

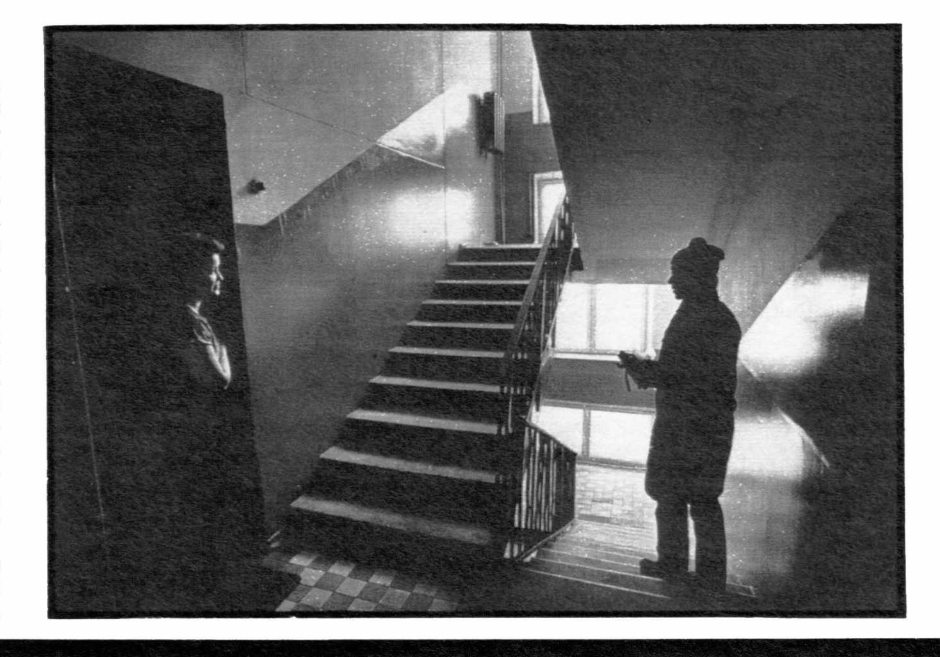
Дмитрий ДИМОВ **Павел КРИВЦОВ (фото)**

ФОРМУЛА СВОБОДЫ

Вся моя сознательная жизнь, лучшие ее годы прошли при Брежневе,— сказал Александр Татарников, отпивая из кружки бразильский кофе,— и нет смысла от этого открещиваться, нельзя перечеркивать самого себя. Вот и получается, что я и есть дитя застоя.

Александр Татарников, тридцатидевятилетний наладчик с московского завода «Красный пролетарий», только что закончил изучать электронное нутро станка с числовым программным управлением и теперь, расположившись под рекламным плакатом восьмимиллиметровой видеокамеры фирмы «Акаи», пытается объяснить мне, что такое средний рабочий времен перестройки и гласности.

Но почему именно он говорит нам об этом? И зачем? Дело в том, что пятьдесят лет тому назад здесь же,

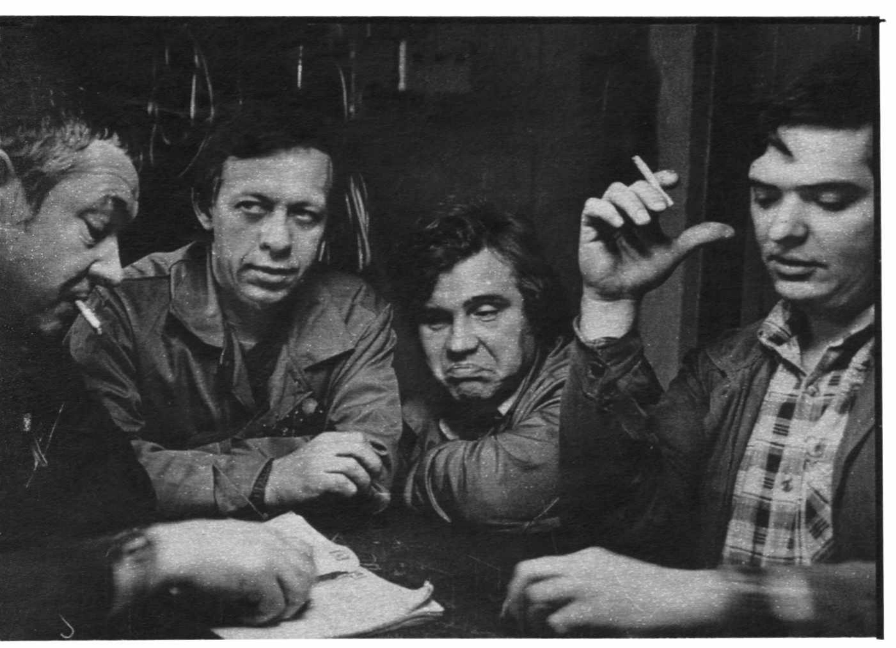


на «Красном пролетарии», фотокорреспонденты Союзфото уже снимали будничную жизнь среднего советского рабочего с распространенной фамилией Филиппов. Филиппов этот сверлил детали, хлебал щи в заводской столовке, изучал труды товарища Сталина в районной библиотеке, а фотокоры фиксировали каждое его движение, каждый жизненный эпизод на пленку. Получилось что-то вроде саги в черно-белых тонах.

Того Филиппова спустя сорок с лишним лет мы, конечно же, не нашли. Ни детей его, ни внуков не отыскалось на «Красном пролетарии».

И тогда мы повстречали Татарникова. Он был не лучше других. Но и не хуже. Он считался средним. Пролетарием, каких миллионы.

Именно поэтому фотокорреспондент «Огонька» Павел Кривцов несколько недель кряду буквально ходил за Татарниковым по пятам и вновь фикси-





ровал на пленку каждое его движение, каждый жизненный эпизод.

А он... он говорил о своей жизни так, как ее понимает и чувствует.

Средний рабочий времен перестройки и гласности Александр Татарников, как и многие ребята его поколения, родился уже после войны, но еще застал эпоху культа, вернее, конец эпохи. И даже этот ее кусочек — день или два — оставил в нем на всю жизнь горестные ощущения.

Тем сумеречным днем мама все утро проплакала возле черной тарелки репродуктора, а он, чтобы высушить ее слезы, то и дело отключал его из сети.

Сталин и мамины слезы — эти понятия переплелись в Саше Татарникове, кажется, навечно.

В ту пору он еще не знал, что его деда, руководившего рыболовецкой артелью под Мурманском, по ложному доносу посадили в один из сталинских лагерей, и, конечно же, не мог еще представить, что мама, хранящая в потаенном месте письма из тех лагерей, пронесет веру в Сталина через всю свою жизнь.

Да, та эпоха почти не коснулась Александра Татарникова тогда, в конце сороковых. Она настигла его сегодня и всякий раз больно отзывается в сердце, когда на День Победы постаревшие, обманутые Эпохой родители, надев боевые ордена, поднимают тост за прожитую жизнь.

Оттепель совпала с ученичеством. Совпала с переездом в новый барак на Зацепе, где в тесных коммуналках жили такие же рабочие семьи, а ночи полнились сухим шуршанием тараканьих тел. Но люди жили весело, а тараканий барак почитали за дарованное властью благо. Оттепель совпала с «Битвой в пути», которую долго крутили в «Ударнике». Совпала с песенками Джонни Холлидея и Элвиса Пресли, которые можно было записать на рентгеновскую пленку в первой звукозаписи на улице Горького. А потом по хрипящему от радиопомех «Голосу Америки» передали, что с гостиницы «Москва» снимают портрет Хрущева.

— Ну и что? — спросил Сашка Татарников отца.

— Разве не слышал? Никиту сняли.

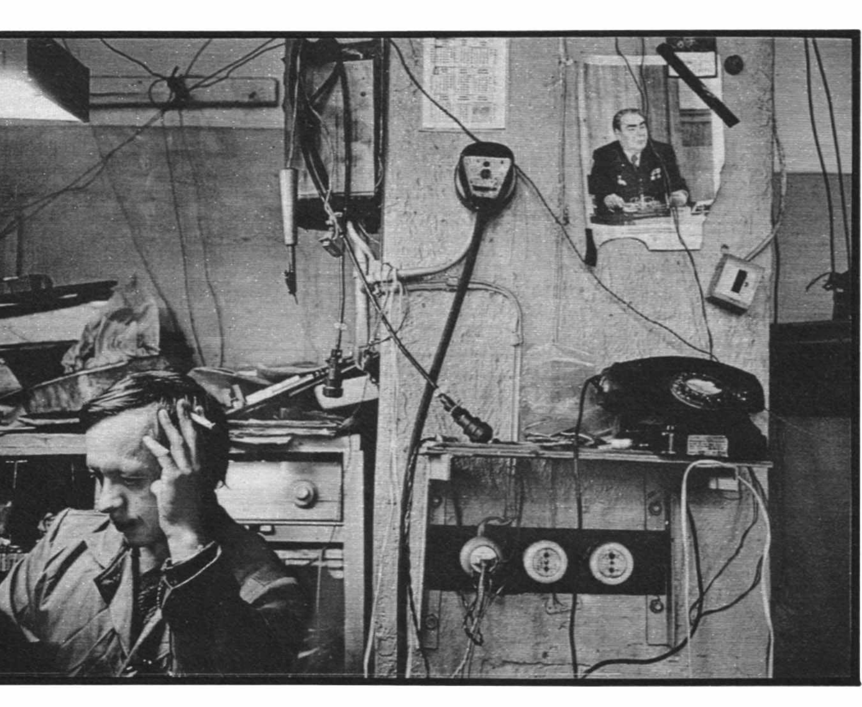
...Он еще «балдел» от «Битлз», и фотография Джона Леннона еще висела над его кроватью, когда пришла повестка в военкомат. А там и шестьдесят восьмой подоспел, события в Чехословакии. И стало ему не до «балдежа». Танки и бэтээры их части двинулись в сторону Праги.

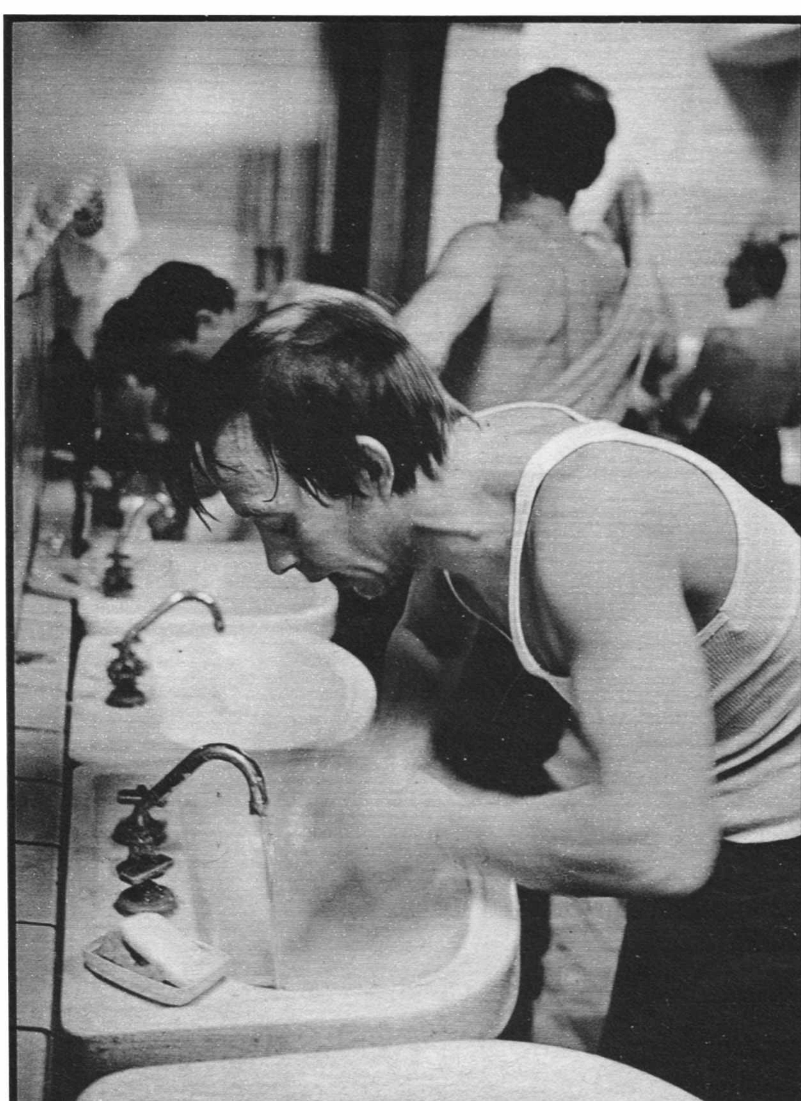
— Мы все тогда думали, что чехи — самая лучшая нация,— вспоминает о том времени Александр Татарников.— Мы считали, что из всех социалистов они лучше других относятся к нам. Не знаю, почему? Просто мы любили хоккей. Наверное, поэтому.

А насчет застоя Татарников не шутил. В самом деле. Ведь именно в то время он начал прилично зарабатывать, женился, и Надя родила ему двух мальчишек, получил квартиру, о которой его родители, например, могли только мечтать... Естественно, только благодаря Леониду Ильичу.

Однажды, в глухую полночь застоявшегося социализма Татарников начал достаточно ясно осмысливать происходящее, задумываться над произволом и справедливостью, сопоставлять слова и дела. И не всегда у него одно с другим сходилось.

К тому времени Татарников уже был членом партии и верил в нее как в бога. Считал: партия всегда права, каждое ее решение взвешено и обдумано. Полагал: кулаков и диверсантов уничтожали за дело, без совхозов и колхозов не обойтись, афганская война — ради безопасности державы.







В восемьдесят шестом рабочего Татарникова как самого идейного направили обучаться в университет марксизма-ленинизма. Стояла весна, а слово «перестройка» покуда еще робко входило в обыденный лексикон, не все еще было известно и многое непонятно.

На занятиях университета спорили до хрипоты, говорили некогда считавшееся крамольным. О том, что кулаки вовсе не враги народа, а коллективизация вместо достатка ввергла крестьянство в пучину страданий, что афганская война — ошибка, а партию возглавляли не лучшие ее представители.

О многом тогда передумал Александр Татарников, и теперь он совсем иной, нежели прежде.

Средний рабочий времен перестройки и гласности Александр Татарников на минувших выборах кандидатов в народные депутаты голосовал за Бориса Ельцина, а кандидатов по территориальному округу вычеркнул из избирательного бюллетеня, потому что считает их программы пустыми прожектами.

Александр Татарников считает, что средняя заработная плата в СССР непомерно занижена, а цены завышены. И эту ситуацию надо менять в принципе.

Он также против спецблаг и сможет говорить о равенстве лишь после того, как районные и даже ведомственные больницы будут находиться на уровне больниц 4-го Главного управления Минздрава СССР.

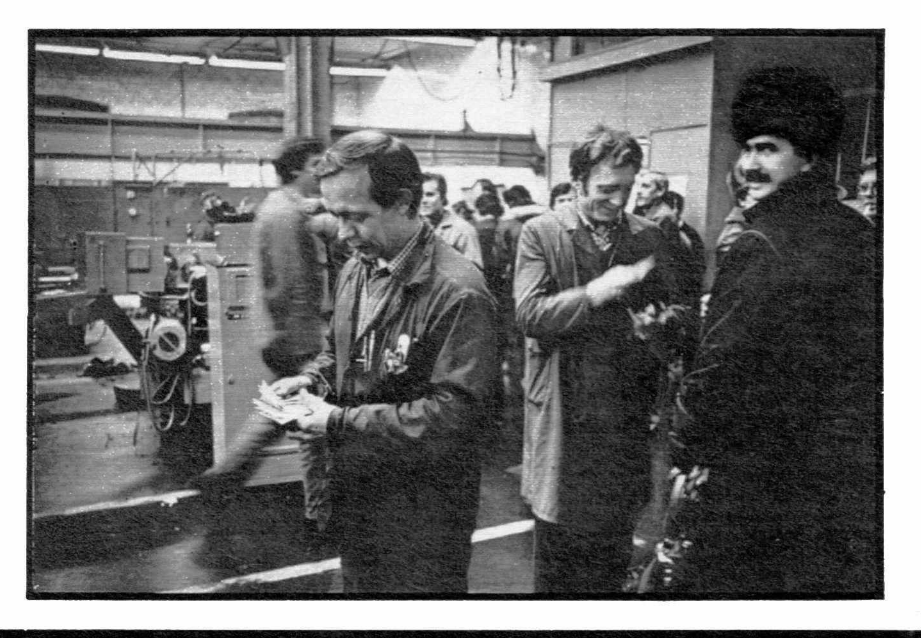
Он за свободные от влияния администрации профсоюзы.

Он хочет, чтобы выпускаемые на флагмане советского станкостроения «динозавры» были не хуже японских. И он знает, как это сделать. И он хочет делать такие станки.

Средний рабочий времен перестрой-







ки и гласности Александр Татарников, наконец, хочет, чтобы «Красный пролетарий» начал выпускать акции. И если бы так случилось, непременно стал их совладельцем.

Он не хочет, чтобы его сыновья воевали в чужих странах даже ради самых благих идей. Ему безумно жаль Надю, которая после рабочего дня вынуждена рыскать по пустым магазинам в поисках съестного. Ему жаль Горбачева, потому что это работа адовая: развернуть дышло такой огромной, неповоротливой и упрямой страны, как наша.

Вот он какой — средний рабочий времен перестройки и гласности, герой нашего фотоочерка Александр Татарников.

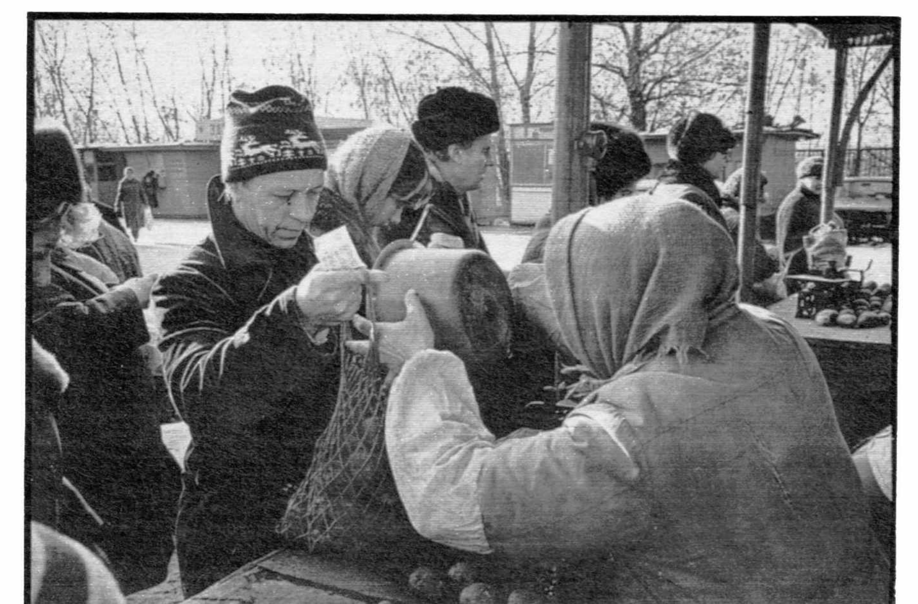
Да, он другой, нежели вчера, и уж совсем не похож на рабочего Филиппова со снимков пятидесятилетней давности. Ни лицом не похож, ни возрастом, ни образом мыслей.

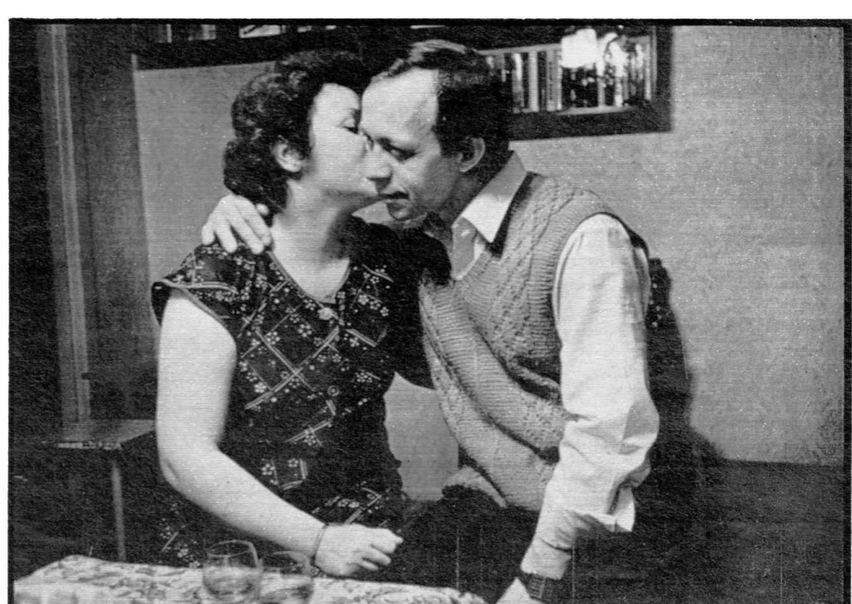
И когда задумываешься, в чем же это различие, то становится понятно, что оно в свободе. В свободе взглядов, речи, воли. В свободе жить по совести, а не по догме, думать согласно убеждениям, а не инструкциям, говорить от чистого сердца и без оглядки, без страха. В этом суть.

...Жена Татарникова работает медсестрой в наркологическом отделении. И когда я спросил ее, почему женщины пьют и из-за чего попадают в это мрачное заведение, Надя ответила: «Из-за любви, из-за несчастной любви».

Татарников усмехнулся: «Слушай, а ведь это как в жизни. Разве не любовь нас сгубила? Безотчетная, несчастная любовь к вождям, политике, верному курсу. Любили и все прощали. Разве не так?»

Подумал немного и добавил: «Свобода излечит. Только она».







По данным отдела распространения издательства «Правда», к 1 апреля 77 800 читателей подписались на «Огонек» 1990 года. Благодарим всех вас за поддержку позиции журнала. Постараемся и в дальнейшем не разочаровать своих подписчиков. Напоминаем всем друзьям «Огонька», что пока подписка проводится без ограничений. Очень важно, чтобы и в будущем мы остались столь же необходимы друг другу.

■

Нам хотелось бы поднять проблему, с которой сталкиваются офицеры, призванные на действительную военную службу на 2—3 года. В связи с сокращением армии их увольнение предполагается в первую очередь — такой вывод мы сделали из ряда публикаций в прессе.

28 февраля в интервью газете «Известия» министр обороны СССР генерал армии Д. Язов сказал, что среди прочих в первую очередь будут уволены лица, призванные из запаса на 2—3 года на офицерские должности. В «Красной звезде» 11 апреля заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР генерал-полковник Г. Кривошеев пишет: «Принято решение в нынешнем году уволить выпускников вузов, призванных из запаса на 2—3 года и проходящих службу на офицерских должностях в СА и ВМФ, а также в пограничных войсках, независимо от срока их службы».

И это разумно. Нет секрета, что перед временным офицером встает много проблем. Прежде всего это отсутствие благоустроенного жилья, невозможность для жен устроиться на работу, в связи с этим и материальное неблагополучие семьи, отсутствие мест в детских дошкольных учреждениях. В самом прохождении службы сказывается слабый уровень военной подготовки, поскольку после окончания вузов прошли годы. Зачастую «двухгодичники» направляются в те войска, где у них нет ни гражданского, ни военного образования.

Прочитав 13 апреля в «Правде» разъяснения первого заместителя начальника Главного политуправления СА и ВМФ адмирала флота А. Сорокина, что «уволены будут все офицеры, призванные из запаса на действительную военную службу на 2—3 года», мы написали рапорты об увольнении в запас. Но, к нашему удивлению, они не рассматриваются. А нам объясняют, что все это слова, и увольнению мы не подлежим. Хотелось бы привлечь внимание Министерства обороны, Главного политического управления СА и ВМФ к создавшемуся положению.

А. А. ЕФРЕМОВ, И. В. КАНАНИН,
старшие лейтенанты,
Е. Н. СТЕПАНОВ,
лейтенант

■

В эпоху расширения международных контактов все больше советских людей по служебным делам и в качестве туристов выезжают за рубеж. Для этого, естественно, необходима медицинская справка. Получение ее всегда было сопряжено с потерей минимум пяти рабочих дней. И вот, шагая в ногу со временем, Министерство здравоохранения СССР решило внести свою лепту в перестройку. 1 июня прошлого года министр издает приказ № 444, который называется «О мерах по дальнейшему улучшению медицинского освидетельствования лиц, выезжающих за рубеж в командировки и турпоездки», в соответствии с которым теперь для получения справки после той же недели сидения перед кабинетами врачей (при этом на медосмотр уходит не более 2—3 минут, необходимых для соответствующей записи в карточке «больного») нужно пойти в сберегательную кассу (в приказе — «своего района»), отстоять там очередь, заполнить карточку почтового перевода в адрес поликлиники на 5 или 10 рублей, в зависимости от продолжительности поездки, уплатить эту сумму и почтовые расходы, включив в операцию несколько почтовых и банковских служащих, получить квитанцию и только после этого можно вновь идти за справкой.

Какое тут коренное «улучшение медицинского обслуживания», несомненно, уже успели ощутить на себе и своем кармане тысячи «лиц», выезжающих за рубеж. Кстати, для врачей это новшество также явилось полной неожиданностью.

Хочется спросить руководителей здравоохранения: в чем, собственно, выражается в данном случае «дальнейшее улучшение медосвидетельствования лиц»? На мой взгляд, это больше похоже на желание бесцеремонно запустить руку в карман бесправного пациента, что в последнее время практикуют многочисленные ведомства. И может быть, не стоит прикрываться терминологией, от которой веет социальной демагогией?

И. А. БАСОВ,
научный сотрудник
Москва

■

В газете «Правда» 28 ноября прошлого года была опубликована статья «Творец против бюрократа», в которой академик Б. Патон высказался за конкурсный принцип отбора тематики научных исследований. Этот принцип, по его мнению, «плохо вписывался в обстановку бюрократического администрирования, монополизма и протекции».

Я всего лишь научный сотрудник одного из академических институтов, смотрю на те же самые процессы, что и академик Патон, но — с другой стороны, точнее — с другой высоты. Снизу, например, видно — и это показал проведенный в конце минувшего года Академией наук отбор,— что конкурсный принцип можно легко обойти.

Революционизирующие научные представления вызревают чаще всего в головах людей малоизвестных, далеких от обладания какой-либо реальной властью. Сложившаяся в Академии система определения научной политики ориентирована не на этих людей. Не под их идеи выделяются деньги и ресурсы. Не они привлекаются в качестве составителей и координаторов научно-технических программ.

Изменилось ли это положение с объявлением конкурса? Нет!

Административная система управления наукой, например, обладает властью утаить от общественности информацию о проведении конкурсных отборов, сделать ее доступной узкому кругу лиц, определяющих, что́ и как исследовать. Поди-ка ты, не принадлежащий к избранным, подай на конкурс свою идею, если не знаешь, кому и как это сделать...

Принцип конкурсного отбора и утверждения тематики исследований без понимания невероятной сложности, противоречивости и даже деликатности процесса зарождения принципиально новых идей, по существу, обернулся против их генераторов. Исторический опыт, игнорируемый организаторами прошедшего конкурса, свидетельствует, что неклассические, «сумасшедшие», идеи возникают вне официальной науки. Их появление следует ждать в головах людей, свободно противопоставляющих себя господствующим научным взглядам. Конечно, немногим из них, предупреждал академик В. И. Вернадский, дано обладать «великим прозрением будущего человеческой мысли... Но настоящие люди,— продолжал он,— с максимальным для данного времени истинным научным мировоззрением всегда находятся среди них, среди групп и лиц, стоящих в стороне, среди научных еретиков, а не среди представителей господствующего мировоззрения. Отличить их от заблуждающихся не суждено современникам». Они существуют рядом с нами среди париев академической науки, которая сегодня им еще позволяет существовать. Но что ждет их завтра?

Конкурсность в нынешней ее форме — это прекрасный подарок монополистам. Они не замедлят направить ее острие против разработчиков безумных идей. Тем более что в силу специфики своего труда они сами ставят себя вне официальной науки, вне коллективов, планов и программ. Этих людей вчера еще как-то терпели, сегодня им предлагают оставить фантазии и подумать о «настоящем деле», а завтра хозрасчетные научные коллективы, доказавшие в конкурсе уместность своей исследовательской программы, будут эффективно избавляться от них. Конкурсность необходимо реализовать так, чтобы мимоходом не подавить самые интимные формы научной работы, сегодня глубоко загнанные в подполье.

С. К. ШАРДЫКО,
научный сотрудник
Свердловск

■

Хочу рассказать о том, как меня «премировали». Я пенсионерка, библиотекарь-библиограф. А это значит — всю жизнь была зарплата минимальная. Соответственно и пенсия. Я работаю, стало быть, моя пенсия плюс зарплата — 150 рублей. Ни рубля больше, ни-ни. Потолок! И вот музею (библиотека при нем) дали премию. Заработали ее все. В том числе и я. Выписали мне 90 рублей. Но при этом сняли пенсию — тоже 90 рублей. (Много! Не положено! Только 150 рублей.) Из премии вычли подоходный налог. Осталось 83 рубля. Плюс 60 рублей зарплата. Итого — 143. Выходит, без премии я бы получила больше. Абсурд? Нет, это наш закон о пенсиях.

Отсюда я делаю вывод: работать хорошо — невыгодно.

Э. И. ДОРОГИНА
Ленинград

■

По профессии я юрист. На днях ко мне обратилась знакомая студентка-заочница агрономического отделения сельскохозяйственного техникума с просьбой помочь выполнить задания по советскому праву. Среди вопросов был и такой: охарактеризовать стадии гражданского процесса. В условии одной из задач было сказано, что гражданин СССР во время пребывания за рубежом выдал сведения, содержащие государственную тайну. Спрашивалось, каким законом предусмотрена ответственность за это преступление и каково наказание.

Я, что называется, обеими руками голосую за ликвидацию юридической безграмотности на всех уровнях, но в пределах разумного. Мне непонятно, для чего будущему агроному углубленное знание гражданского процесса или государственных преступлений.

И что особенно меня повергло в изумление, так это тема контрольной работы: «Конституция СССР — основной закон развитого социализма». Что тут можно было посоветовать? Обратиться к трудам Л. И. Брежнева, как к первоисточнику? Заняться собственными исследованиями вопроса с учетом последних изменений нашего Основного Закона?

Я рекомендовала ей избрать другую тему для контрольной работы.

Спрашивается: кто готовит для студентов подобные темы и в какое время он живет?

Л. АНТОНОВА
Белгород

■

Не так давно принято постановление о предоставлении права квартиросъемщикам государственных квартир покупать эти квартиры, передавать их по наследству, а также продавать. Разрешено покупать дома, требующие ремонта, и в дальнейшем передавать их по наследству. О жилищных же кооперативах в законе ничего не сказано.

Однако члены ЖСК, полностью оплатившие стоимость жилья (с процентами за ссуду) и до сих пор выплачивающие за капремонт дома и за услуги (лифт, оплата работы дворника, слесаря и др.), не считаются собственниками своих квартир.

Почему такая несправедливость? Почему жильцы ЖСК не приравнены в своих правах к жильцам государственных квартир и частных домов?

Считаем, что этот вопрос следует обсудить с привлечением законодателей и юристов.

Жильцы ЖСК «Пульс»:
ДМИТРИЕВ, КЛЕБАНСКАЯ,
КРЮКОВА,
всего 48 подписей
Иваново

Михаил ВОЗДВИЖЕНСКИЙ

ГОРЫ ХЛЕБА И БЕЗДНА МОГУЩЕСТВА

ПОМЫСЛЫ И СУДЬБА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ СВЯЗАНЫ С СОЗДАНИЕМ НОВОЙ ТЕХНИКИ — ПОНЯТИЕМ ПРИВЫЧНЫМ, РАСХОЖИМ, НО СТАВШИМ БОЛЬШЕ СИМВОЛОМ, НЕЖЕЛИ ФИЗИЧЕСКИ ОЩУЩАЕМОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ. СВЯЗЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА С НОВОЙ ТЕХНИКОЙ ПОТЕРЯЛА ПРОЧНОСТЬ, ОТЧЕГО ГОСУДАРСТВО БОЛЕЕТ, СТРАДАЕТ. ТАБЛЕТОК ОТ БОЛЕЗНИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, И ЕСЛИ ДАЛЬШЕ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ, ЛЕЧИТЬ НАДО НЕ БОЛЕЗНЬ, А ВЕСЬ ОРГАНИЗМ. ВОТ И ПРОЕКТ НОВОГО ЗАКОНА ОБ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИШЬ ТАБЛЕТКА, ДА И ТО ВЫПИСАННАЯ НЕ ОЧЕНЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ВРАЧАМИ.



Рисунок Сергея ТЮНИНА

Изобретательство в нашей стране зашло в тупик. Недавно работник заводского БРИЗа, приехав в Москву из Петрозаводска, удачно «провернул» дела и выбил вознаграждение аж девяти изобретателям. «Да неужто сдвинулось! — воскликнули его друзья.— Или попросту девятерым повезло?» Пробивной спец только рукой махнул: да это уж давно умершие изобретатели. Наследники получат...

В год у нас регистрируется почти 100 тысяч изобретений. Больше, чем в любой другой стране мира. Но это как производство обуви: много, но никому не нужно... Идет странная кампания за массовость. Количеством козыряют. Мы первые «научились» даже планировать изобретения! Вымученные цифры миллиардной экономии от них ставят в шеренге одни регионы на первое место, другие — на второе... Не хватает только «работающих» изобретений, воплощенных в машинах, технологиях, той самой новой технике, о которой везде говорят.

«Не хватает» — сказано мягко. А создаем ли мы вообще новую технику, если понимать под термином хотя бы приблизительный мировой уровень?

В конце 1987 года, обойдя несколько крупных министерств, я выписал номера авторских свидетельств, заложенных в планах новой техники. В среднем это были изобретения 1979 года. Созданы они были гораздо раньше. В среднем заявки на эти изобретения лежали в Госкомизобретений два года, регистрация их проведена в 1977 году. Но и это не все. Опять же в среднем целый год эти заявки «принимались», то есть изобретателей учили правильно печатать, держать на листе поля, красиво чертить и т. п. Так что срок создания новшества надо датировать уже 1976 годом.

Поехали дальше. В среднем год уходил на подготовку унизительного документа — заключения о полезности, заставляющего изобретателя расшифровывать свою идею перед специалистами обычно головного института отрасли. И на доставку справки о том, что автор заявки именно он!.. Между прочим, такую справку должен подписать его начальник! Неудивительно, что в большинстве свидетельств первым оказывался в списке авторов именно директор, с чем Госкомизобретений был согласен, допуская, видимо, возможность рождения идеи одновременно в голове инженера и его шефа...

Итак, в планах новой техники 1988-го стояли объекты, подкрепленные идеями 1975 года, то есть тринадцатилетней давности... Хорошо бы еще так, но... В планах новой техники министерств редко встречаются объекты, которые в 1988 году выпускались бы как серийные изделия. Обычно это только этап внедрения: создание или испытание экспериментального образца, в лучшем случае изготовление опытной партии. Иной раз в планах не машина, а отдельные узлы, то есть незначительное усовершенствование машины в целом. Словом, новая техника оказывалась ужасно старой. До потребителя доходят изделия с новшествами 17—18-летней давности.

Оговариваюсь, что речь идет об идеях, которым, так сказать, повезло. О тех, что удалось протащить через фильтры Госплана, ГКНТ, то есть облекли высоким государственным вниманием, обеспечив финансированием, материалами, зарплатой рабочим. Так вот

таких счастливых изобретений по всем министерствам набирается не более 4 тысяч. За чертой внимания остается 96 процентов новшеств, зарегистрированных в качестве изобретений. Причем в числе внедряемых новшеств немало пустяковых, ничего не решающих. Почему-то ярким, неожиданным идеям, способным перевернуть иной раз целую отрасль, бывает куда сложней обрести даже статус изобретения. Что уж говорить о внедрении, особенно в тех случаях, когда требуется сплочение нескольких ведомств!

Эрик Михайлович Галимов, ученый с мировым именем, предложил новую гипотезу образования алмазов. Он посчитал, что образуются они в результате кавитации... Его работа поставила все точки над «i» в загадочном процессе рождения минералов. Никто не заинтересовался идеей, сулящей производство брильянтов, не получил Галимов и авторского свидетельства...

Хирург Ярослав Петрович Кулик нашел способ обезвреживания аппендицита без хирургического вмешательства в брюшную полость. Требовался новый фиброскоп. Никто не стал его изготавливать. Было также отказано профессору и в авторском свидетельстве.

Михаил Сергеевич Харченко стоял у водопада. Не какого-то там знаменитого, а у водосброса Белоомутской плотины Москвы-реки. Радуга, прохладные брызги... Картину портили хлопья коричневатой пены, которую нарабатывал водопад. Вот один такой блин оказался на берегу, и люди брезгливо перешагивали через него, стараясь не испачкать ног. Харченко впился в этот блин и с той минуты вот уже 20 лет стучится в ворота различных ведомств, прося, требуя, чтобы воспользовались самоочищением рек, которое он заметил, объяснив, что пена — результат флотации — процесса, когда в толщу воды засасывается воздух, а с пузырьками выносятся на поверхность грязь и нефтепродукты. Нужно только собрать пену на берег, пока она не растворилась снова. Харченко даже придумал устройства, которые вспенивают воду, нарабатывают пену на реках без порогов и плотин.

Вениамин Федорович Сопочкин предложил способ особой «заморозки» рыбы, позволяющий доставлять ее живой даже с тропических широт. В сути способа — биологическая находка, но чтобы способ воплотить, требуется оборудование, оснащение им судов. Минрыбхоз СССР не пожелал этим заниматься. Более 20 лет ведется яростная борьба с изобретателем, кандидатом технических наук. Ведомство взяло верх: по его просьбе Госкомизобретений вообще аннулировал изобретение Сопочкина, а сам кандидат наук в последние годы до выхода на пенсию работал... матросом.

Сергей Игнатьевич Елизаров получил авторские свидетельства двадцать лет назад (удивительно стойкая цифра!) на идеи, которые опережали буквально все страны мира в области машиностроения. Они позволяли видоизменить в производстве цепочку компьютер — исполнительный механизм. Он решил такую задачу, о которой и сегодня говорят как о задаче будущего! Никто не заинтересовался его изобретениями.

К. Э. Циолковский писал: «Но я надеюсь, что мои работы — может быть, скоро, а может быть, в отдаленном будущем — дадут горы хлеба и бездну могущества». Когда же он предложил способ летания без опоры на воздух, то возмутил целый клан специалистов по самолетостроению. Никто всерьез не воспринял старика, и он к высоком своим словам добавил другие: «...Я занимался тем, что не давало мне ни хлеба, ни силы».

Журнал «Изобретатель и рационализатор» в 1980 году публикует статью «Звездолет на испытательном стенде» о необычайном опыте В. В. Павлова, опыте настолько ошеломляющем, что приученные спокойно относиться к фантазиям мудрецов сотрудники журнала сильно засомневались в чистоте опыта. Да и статья вышла мучительно... Павлов, по существу, старается доказать возможность полета без горючего, предлагает летать, опираясь на гравитационные поля небесных тел. Сотрудникам журнала простительны сомнения, но вот идею Павлова с ходу отвергли и все специалисты по ракетостроению. Опыт свой Владимир Васильевич поставил дома, поломав в квартире стену, поломав личную жизнь, отрешась от всего земного, чтобы прибавить каплю могущества своей стране. Разумеется, опыт не дал ему ни хлеба, ни силы...

Нелишне будет напомнить, что Кристиан Барнард за шесть лет (!) до своей знаменитой операции по пересадке сердца приезжал к советскому изобретателю В. П. Демихову и учился его методике, которую тот разработал еще в 1943 году!

Сколько их, павловых, сопочкиных, елизаровых? Почти в каждой области техники, включая даже такие, по которым мы безмерно отстали, скажем, в той же кибернетике, у нас есть сильные изобретения, могущие, если их вовремя использовать, идти в ногу с любой западной державой. Но об этом не приходится и мечтать...

Казалось бы, всем ясно, что жизнеспособность сегодняшнего общества зависит от количества мыслящих людей. И чем больше государства заинтересованы в развитии технического прогресса, тем больше в цене мысль и ее плодящий — изобретатель. У нас изобретатель не в цене. Идею у него забирает государство, обязуясь непременно ее использовать, но обещание свое часто не держит. Умопомрачительная цена, которую у нас платят за идею,— два процента от эффекта. Покупая колбасу или сыр, мы два процента платим за упаковку. Целлофановый пакет или кусок бумаги — вот плата за идею — продукт! А как достаются эти два процента, уже сказано в начале статьи...

Не обладая механизмом быстрого использования новых идей, мы эффектно переводим их в разряд старых. Да, мешают бюрократические рогатки, но в корне неверно сводить это к недостаткам каких-то несознательных чиновников. В наших министерствах собрано немало людей высокой квалификации — умных, талантливых. Но вот беда: чем они способнее, умнее, добросовестнее трудятся, тем больше мешают. Обижаться на тех, кто прилежно выполняет свой долг, глупо. Не в людях, сидящих за столами сложного лабиринта ведомств, беда, а в том, что мы свыклись с лабиринтом.

Пришлось как-то работать на участке, где эксплуатировалось оборудование американской фирмы. Вице-президент фирмы однажды сказал: «Как вы умудряетесь еще что-то производить, мне непонятно. У нас 12 министерств. Функции их иные. Министерство сельского хозяйства, к примеру, выдает только кредиты фермерам и проверяет качество продуктов. На каждом куске мяса их клеймо... Техналям вообще редко приходится ходить в министерства. Пусть у вас люди очень хорошие там, но я не представляю, если министерств не 12, а 60, как можно делать дело?..»

Несовершенное изобретательское законодательство только дополняло огрехи системы. «Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях» и законодательством назвать было трудно, ибо многие его пункты неточны, расплывчаты, запутанны, нежизнеспособны. С выходом его в 1974 году до сего дня велись бурные дебаты почти по каждому пункту. И вот вымученный, не до конца осмысленный проект нового Закона наконец опубликован.

Законы следует вводить быстро, но принимаются они на долгие годы. Зачем же спешить с их объективной оценкой? Тем более с этим Законом, очень сложным, с большим количеством новых терминов и понятий. И не кощунственно ли поступили с изобретателями составители? Сами-то они три года мучительно работали, едва нашли паллиативные компромиссные ходы и вдруг установили для обсуждения их кропотливого трехлетнего труда всего два с половиной месяца. Любая статья специфического Закона, за которой интересы творческой жизни 4 миллионов людей, требует скрупулезного, вдумчивого разговора.

Проект Закона больше всего напоминает, как ни странно, первый принятый в России в 1812 году «Манифест о привилегиях на разные изобретения и открытия в художественных ремеслах», составленный М. М. Сперанским. «Манифест» устанавливал частную собственность на идею. Выдавалась привилегия на разные сроки. Требовалось платить огромную пошлину за поддержание привилегии. Так, за десятилетнюю надо было выложить 1500 рублей, огромные по тем временам денежки. Практически неимущий человек был отстранен от изобретательства. Закон трижды корректировался и в последней редакции 1896 года дожил до революции.

Сегодняшний проект Закона шестой за 70 лет. Вначале и у нас было законодательство, предусматривающее исключительную привилегию. В 1922 году подчеркивается собственническая сторона авторского свидетельства, оно согласно 5-му пункту Декрета ВЦИК от 22 мая включено в вещное право. Но все кончилось быстро. В 1931 году вводится государственное исключительное право на изобретение. «Проект Бернштейна» — так назвали новое законодательство, проект национализации идей остался в основе всех последующих «Положений», остался он и в ныне действующем, прочно обосновалась в них сумма вознаграждения — 2 процента, которая выплачивается только 5 лет. Ленинский декрет с размером вознаграждения — 15—30 процентов — был перечеркнут.

Проект нового Закона вроде бы возвращает нас к ленинскому декрету, приближает изобретательское право к мировым образцам. Устанавливается снова собственность автора на свою идею, обещается выплачивать неограниченное вознаграждение в течение 20 лет. Кроме того, автор свои права может передать другому лицу, предприятию, может поделиться частью прав с предприятием, а может патент уступить государству в лице Государственного патентного фонда СССР. Наконец, автор может продать по лицензионному соглашению свой патент зарубежной фирме. Казалось бы, широкий аспект прав. Но это только на первый, неглубокий взгляд.

В сердцевине нового законодательства единый охранный документ — патент. Если раньше при получении авторского свидетельства изобретателю могли даже заплатить 50 рублей, то теперь за владение патентом он сам должен платить. Точнее, платить он будет и за подачу заявки, и за ее публикацию, и за патентную экспертизу, и за опубликование патента, и за его поддержание в течение 20 лет. Сколько платить? А неизвестно... Будто застеснявшись меркантильной стороны дела, составители скромно умолчали о размерах пошлин. Для среднего изобретателя, а он видится инженером со стажем, у которого оклад 180—220 рублей, размер пошлины — вопрос сверхсущественный.

По старой привычке мыслить с позиций каких-то туманных государственных интересов составители проекта, видимо, боялись, что там, наверху, их «не поймут», если продешевят, а сразу заломить огромные пошлины рука не поднялась, потому как все обсуждение сконцентрировалось бы на этом моменте. Экая проблема! — вероятно, решили составители. Ну, окажутся цифры пошлин большими, ну, заглохнет изобретательство на корню, скорректируем цифры...

В сущности, многозначительное, многообещающее введение патента может вызвать только улыбку. Ведь и по сегодняшнему «Положению» можно взять патент. Но никто этим правом не пользуется. Почему? Да все потому: надо платить пошлину, и немалую,— где-то 2500 рублей. За пятнадцать лет патент взяло несколько человек. Знали об этом составители? Знали. Стало быть, заложили в новом Законе нечто, что заставит изобретателя платить за свою идею, хотя и обещает ему легкие дивиденды от использования изобретения!

Предприятие, которое приняло патент, в течение трех лет всю прибыль от его использования будет оставлять себе. Но тут сразу же возникает масса вопросов. Почему именно три года? А если изобретатель передал права предприятию, то сколько лет оно будет пользоваться этой прибылью? Тоже три или все 20 лет? К тому же отчисления в бюджет государства у каждого предприятия разные. Для некоторых слабых из них, где использование изобретений как раз и необходимо, и так установлены очень необременительные отчисления, так что стимул вообще не сработает. Есть и другая сторона дела. Прибыль от изобретения даст видимое вознаграждение только в том случае, если она большая. Легче всего ее «добыть» простым повышением цены, нам это уже хорошо сегодня известно. Если вообразить на минуту, что изобретательство вдруг захватит все области производств, что впредь на каждом заводе станут выпускать только новую продукцию, значит, буквально на все виды продукции будет повышена цена.

Но вернемся к изобретателю, перед которым стоит дилемма: брать патент или нет? Предприятие само будет получать прибыль только три года, а ему от прибыли должно идти вознаграждение в течение еще 17 лет? Но здесь интересы его и предприятия разнятся. Предприятию не захочется платить изобретателю огромную сумму, да еще столь долго. Оно через три года может перейти на выпуск другого нового изделия, а то, изобретенное, и вовсе снять с производства.

А как будут рассчитываться с изобретателем, идея которого не дает прямой прибыли? Допустим, за изобретения Харченко. Ну, будут очищать реки, люди смогут купаться там, где сегодня страшно и ступить. Но для использования его идеи надо собирать пену, вывозить ее на берег, а с берега куда-то транспортировать... Все задействованные предприятия понесут только убытки. В проекте Закона сказано: в этом случае премию изобретателю выплатит Совет Министров СССР. Но если сегодня Харченко не смог найти ни одного заинтересованного лица для проведения хотя бы эксперимента (плотина принадлежит одному ведомству, приплотинная зона — другому, берег, куда надо выгрузить грязь,— третьему, свалка, наконец, куда надо вывезти грязь,— четвертому, а сама грязь не имеет никакого представителя, как никому у нас не принадлежит и река), то можно вообразить, как непросто придется изобретателю.

Практически загадкой для большинства не только изобретателей, но и патентоведов стало введение в проекте Закона отложенной экспертизы. Означает нововведение следующее: после того как у автора примут заявку, то есть согласятся с тем, что она правильно оформлена, ее через 18 месяцев опубликуют. Даже в том случае, если она не содержит никакого новшества. Или, напротив, если она представляет собой революционную находку. Любой человек сможет прочесть ее и, проще говоря, тут же начать использовать. Заплатит изобретателю он потом и только в том случае, если изобретатель возьмет патент. Автору же предоставляется время для раздумий, брать патент или не брать,— 4 года с момента подачи заявки.

Большинство изобретателей сегодня страшно возмущены и очень большим

сроком для публикации, и этими четырьмя годами — слишком много! Нашелся только один из них — А. Ф. Ренкель, который возмутился как раз ограниченностью этого срока: всего 4 года. Система отложенной экспертизы позаимствована у европейских стран. В ФРГ, Нидерландах срок для раздумий 7 лет. Видимо, считает А. Ренкель, авторы проекта посчитали, что в этих странах вопрос с использованием изобретений поставлен куда хуже, чем у нас. Изобретатель предлагает, учитывая то рвение, с каким у нас «гоняются» за изобретениями, установить срок временной, правовой защиты не 4 года и даже не 7 лет, а 10. Ибо за 4 года (а со времени публикации остается вообще 2,5 года) наш изобретатель не успеет найти использователя, а если он в течение этих 4 лет не решится взять патент, то пропадает вся работа по заявке, пропадает сама заявка, его идеей уже без всяких платежей может воспользоваться любой человек или предприятие, включая любую зарубежную фирму.

Алексей Фридрихович Ренкель, автор 50 изобретений, которые он не только внедряет, а еще умудряется получать за них вознаграждения (минимум два судебных процесса в год, куда он ходит спокойно, как на работу, где, не волнуясь, умеет доказать, как правило, ничего не понимающему судье свою правоту и права), считает, что куда проще было бы оставить старое «Положение», усилив его актом снятия потолка вознаграждения. В этом случае автор имел бы возможность выбора охранной грамоты, тем паче что сегодня если и возьмет изобретатель сгоряча патент, то, поняв, что не сможет найти достойного внедрителя, может поменять свой патент на авторское свидетельство. Так было бы проще и честнее. Да, честнее. Ибо провозглашенное исключительное право изобретателя едва ли будет им реализовано.

Причина здесь простая: трудно найти использователя. Вот и остается ему сдать свои права либо предприятию, либо Государственному патентному фонду. Возможно, лишь незначительная часть патентов будет реализована через лицензионную продажу. Впрочем, и тут автор зажат со всех сторон. Видимо, не веря в исключительные права будущих патентообладателей, составители перечеркнули свои собственные нововведения созданием Государственного патентного фонда СССР. Именно в эту государственную организацию сможет «спихнуть» изобретатель свой патент, а то и сразу право получить вместо себя патент уже на этапе публикации заявки, чтобы Госфонд оплатил все издержки по патентованию.

Создание Госфонда — жест старомодный, стандартный, характерный для принципа администрирования. Создание в известной мере сложного по структуре ведомства продумано, однако, до тонкости. Финансовая основа, например. Не очень-то, видимо, надеясь на добровольные взносы предприятий и отдельных людей, составители предусматривают обязательные отчисления Госфонду в размере 1 процента от прибыли за изобретательство плюс выделения из Госбюджета. Последняя добавка свидетельствует лишний раз о неуверенности составителей в действенности и, так сказать, самоокупаемости этой организации. Тут интуиция их не обманывает. Предлагается еще одно ведомство с сотрудниками, штрафными санкциями, очевидными дублирующими функциями уже существующих ведомств по сбору информации и пропаганде изобретательства и по любимому ведомственному коньку: организации конкурсов, выставок.

Поначалу в проекте Закона заложен один главный использователь-предприятие, а потом он как бы тушуется и на передний план выдвигается это новое ведомство — Государственный патентный фонд, то ли контролер, то ли судья, то ли помощник... Неужто мало Совмина, ГКНТ, Госкомизобретений, ВОИР? Такое впечатление, что составители, испугавшись своего революционного поворота к патентам, все время думали об отступлении. И «создали» организацию, которая как бы замыкала круг. Не получится с патентами, будет этот фонд, то же государство, которое приберет к рукам неустроенные патенты. Изобретатель Ренкель прав: стоило ли городить огород!

Хороший Закон нужен. Но никакой Закон не может устранить основную болезнь в обществе: для создания истинно новой техники не созданы стимулы. Качество продукции может родиться только на почве конкуренции, товарных отношений. Другого пути никто не придумал.

Введение товарных отношений автоматически решает проблему использования изобретений. Предприятие, выпускающее ненужные комбайны, от которых отказались колхозы и совхозы, когда им предложили их покупать, перейдя на товарные отношения впервые за всю нашу социалистическую действительность, прежде всего могут заинтересоваться отечественными изобретениями, ибо новый комбайн должен быть на уровне мирового стандарта, а покупать за валюту лицензию станет невыгодно, а то и невозможно. По логике вещей изобретателя немедленно бы взяли на работу, сделав фигурой наиболее уважаемой. И с вознаграждением не возникло бы проблем. Ему платили бы больше директора и главного инженера, вместе взятых. Так оценивается труд изобретателя за рубежом. Да, прежде всего зарплатой, несоизмеримой с зарплатой никаких других функционеров.

И вот представьте ситуацию. Скажем, предприятие, выпускающее, например, лампы СВЧ, должно быть оснащено великолепным прецизионным станочным парком. Но ламп производят немного, и станочный парк простаивает 3/4 рабочего дня. На этом предприятии можно было бы наладить производство еще как минимум двух десятков наименований сложного, дефицитнейшего электронного оборудования. Видится, как подобное производство становится кооперативным: лампы продолжают выпускать по госзаказу, а всю эту остальную продукцию изготавливают для своей выгоды. Причем и лампы, и продукция будут выпущены именно на мировом уровне.

У нас есть все: земля, металл, дерево, газ, пластмасса, бумага. У нас очень образованный и талантливый народ. У нас есть огромные запасы сырьевых ресурсов. Неужели наши экономисты менее изобретательны, чем их американские коллеги? Наверное, нет. Думается, более осторожны, если не сказать конкретнее: трусливы. Они молчат, лишь единицы из них провозглашали еще до времен перестройки: у предприятия должно быть три показателя — стоимость сырья, производственные затраты и прибыль. Средства производства должны принадлежать предприятию, не человеку-руководителю, но именно предприятию, а руководитель будет получать часть прибыли, так же как и токарь этого предприятия. Будут «прогорать» предприятия, пойдут с молотка токарные станки, вчерашний директор станет бухгалтером, а мастер станет директором. Он сам себя им сделает, взяв завод в аренду или возглавив производственный кооператив. Пусть появятся богатые люди, но пусть богатство они наживут талантом и кропотливым трудом.

Использование изобретений при товарно-денежных отношениях между предприятиями становится актом естественным, как дыхание. Изобретатели станут очень богатыми людьми. В Венгрии сегодня несколько изобретателей — миллионеры. Сергей Игнатьевич Елизаров ходит в очень старом пальто. Он, что называется, человек бедный. Елизаров мог принести нашему государству горы хлеба и бездну могущества. Мне непонятно, почему этот человек не миллионер. Это просто несправедливо.

Золотая лошадь

УЧЕНЫЙ-ЭНЦИКЛОПЕДИСТ В. О. ВИТТ ПИСАЛ ОБ АХАЛТЕКИНСКОЙ ПОРОДЕ: «ЭТО ЗОЛОТОЙ ФОНД КУЛЬТУРНОЙ ВЕРХОВОЙ ЛОШАДИ ВСЕГО МИРА, ПЕРЕДАННЫЙ НАМ ИСТОРИЕЙ. В РУКАХ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В СРЕДНЕАЗИАТСКИХ РЕСПУБЛИКАХ ИМЕЕТСЯ КОНСКОЕ ПОГОЛОВЬЕ НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМОЙ ЦЕННОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЕ СОБОЙ ГЕНОФОНД, КАКОГО НЕТ НИ В ОДНОЙ ДРУГОЙ СТРАНЕ В МИРЕ, ПОСЛЕДНИЕ КАПЛИ ТОГО ИСТОЧНИКА ЧИСТОЙ КРОВИ, КОТОРЫЙ СОЗДАЛ ВСЕ ВЕРХОВОЕ КОНЕЗАВОДСТВО МИРА».

Ахалтекинцы!.. «Подобных им нет ни в какой другой стране. Они пылки, быстры и очень выносливы. Белой и радужной масти, а также цвета утренней зари»,— восторженно писал о них — кто вы думаете? — Александр Македонский. Некоторые специалисты полагают, что его легендарный Буцефал был ахалтекинцем. Таким коням узду примеривать жалко.

В наши дни ахалтекинская порода малочисленна... А как ахалтекинские лошади радуют знатоков конного спорта! В 1945 году пятисоткилометровый межпородный пробег выиграл жеребец Тарлан из туркменского колхоза «Тезеел». В 1950 году неофициальный мировой рекорд по прыжкам в длину — 8 метров 78 сантиметров — установил ахалтекинец Перепел. Лучшей спортивной лошадью мира в 60-е годы был признан жеребец Абсент — участник трех Олимпиад! Он же — семикратный чемпион СССР по выездке и чемпион XVII Олимпийских игр.

Сейчас в стране, по данным ВНИИ коневодства, всего 1440 ахалтекинцев (на 1 января 1988 г.). Из них около тысячи на их родине, в Туркмении. Порода переживает критические годы... А вот в ФРГ есть общество «Заводчики и друзья ахалтекинской лошади». Недавно подобное общество организовали в США, а в прошлом году — в Англии. На всей земле носителей «последних капель источника чистой крови» осталось меньше двух тысяч...

Грустна судьба ахалтекинцев в Туркмении. Порода здесь брошена на откуп отдельным хозяйствам. «В них широко процветают метизация и фальсификация происхождения лошадей. Уровень содержания ужасен. Создалась угроза ликвидации уникальной породы...» Это — строки из докладной министру сельского хозяйства республики. Им скоро двадцать лет...

Невероятно?

В 1980 году новая докладная министру сельского хозяйства республики взывала: «Бедственное положение ахалтекинских лошадей в республике не улучшилось, если не ухудшилось. По-прежнему в подавляющем большинстве хозяйств племенные лошади лишены пастбищ, помещений для содержания в зимнее время. Не хватает кормов, обслуживающего персонала. Ветеринарный контроль отсутствует повсеместно».

Жеребят все меньше и меньше...

Выращенная в условиях хронической бескормицы, туркменская лошадь не отвечает требованиям современного спорта. Забыли старую пословицу: «Станет кляча добрым скакуном, если погонять ее зерном».

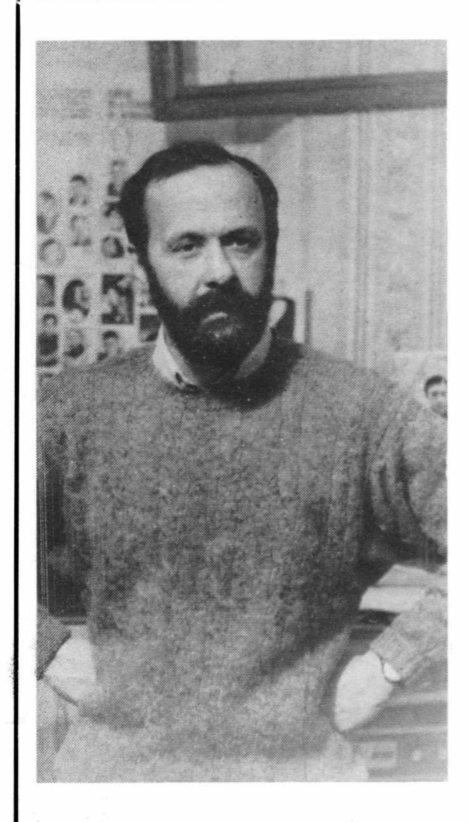
Реакция Госагропрома Туркмении на выступления специалистов и энтузиастов в защиту ахалтекинской лошади выразилась в следующем: замечательный знаток породы, старейший коневод республики М. Д. Черкезова после показа «Прожектора перестройки» в апреле прошлого года «сокращена». И — практически лишена возможности реализовать свой редкостный опыт в работе с ахалтекинцами. В ноябре 1988 года уволена с работы директор республиканской госплемстанции Л. Митрофанова, а на ее место назначили бывшего директора заготскотооткорма... Более того, тренер конефермы колхоза имени Чкалова Марыйской области Язберды Оджиев, который спасал уникальных лошадей от мясозаготовок тем, что отдавал за них собственные деньги, осужден в 1988 году на пять лет лишения свободы!.. Кстати, суд состоялся только после того, как сгорела колхозная контора со всей документацией по конеферме...

Недавний пробег ахалтекинцев по маршруту Ашхабад — Москва — позорная авантюра. Впервые в истории дальних пробегов прививку от гриппа лошадям делали в пути, после чего им не давали выстояться положенных трое суток, а гнали на маршрут. И чего добились? Славы? Нет, многих лошадей в тяжелом состоянии везли на машинах. Или гнали табуном — без всадников! А жеребца Дарыма конного завода «Комсомол» вернули домой с диагнозом «истощение, ревматическое воспаление копыт и суставов».

Автор этих строк, командированный от еженедельника «Собеседник» для освещения пробега, накануне этого варварского «эксперимента» (вакцинация лошадей в пути) был... брошен начальником пробега среди пустыни! И долго еще выбирался пешим ходом к первому жилью...

У туркменов есть пословица «Ошибка не порок, когда она урок». А если уроки не впрок? Есть ли хоть какая-то надежда, что туркменскому аргамаку вернут право на жизнь?

А. САРЛЫК



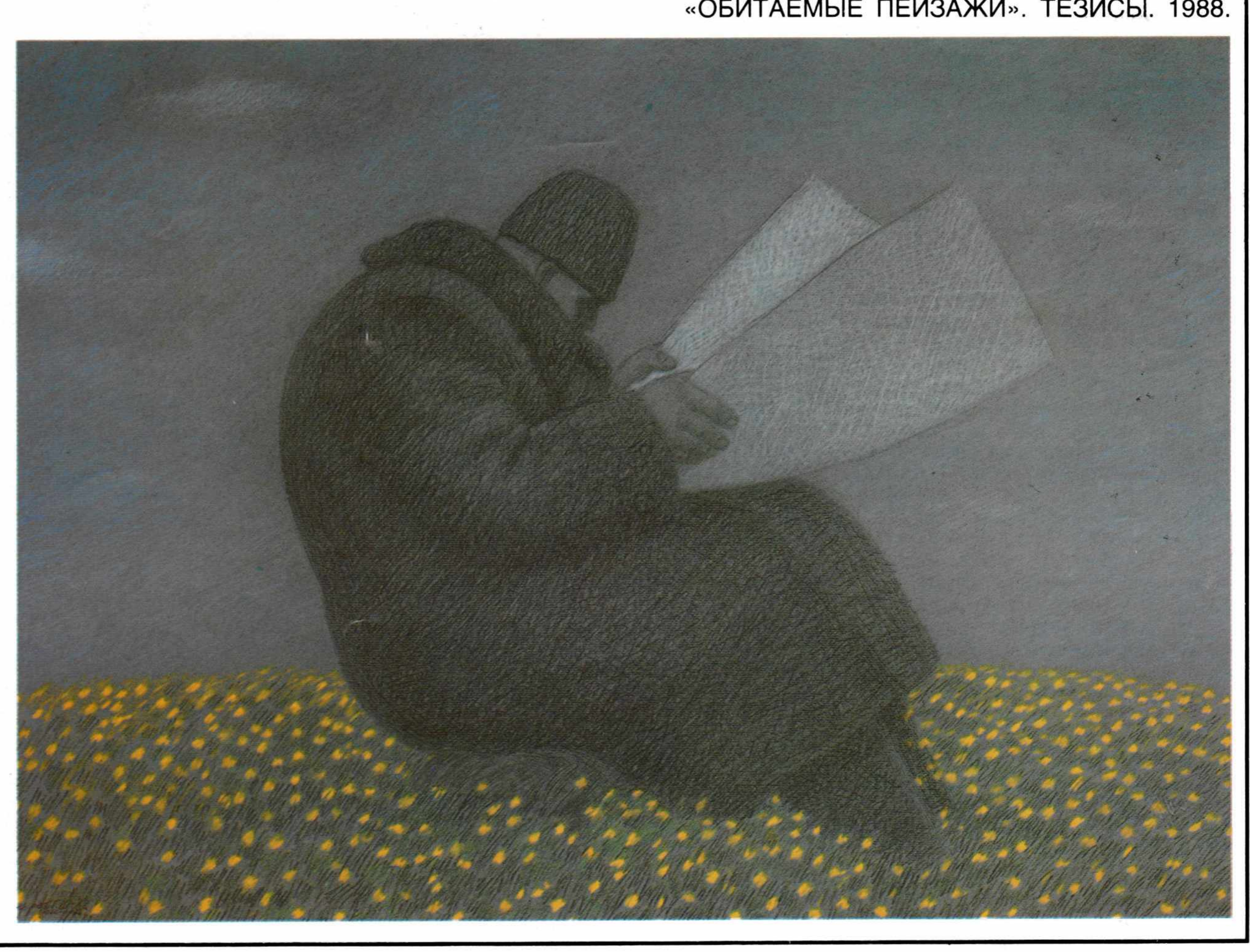


Г. Ш. БАСЫРОВ.
Род. 1944.
ИЗ СЕРИИ
«ОБИТАЕМЫЕ ПЕЙЗАЖИ».
ВЫСОТА. 1984.

Михаил СОКОЛОВ

ОБИТАЕМЫЕ ПЕЙЗАЖИ

«ОБИТАЕМЫЕ ПЕЙЗАЖИ». ТЕЗИСЫ. 1988.



Внешне все в биографии сорокапятилетнего Гарифа Басырова выглядит ровно и скучновато: родился, учился, работал иллюстратором журналов и книг... Да и спокойный характер Гарифа словно овеществляет эту размеренную канву. Но уже сами обстоятельства рождения бросают на жизнь художника тревожную, трагическую тень. На свет он появился в поселке №26 Акмолинского района Казахстана. Лагерном поселении, которое принято было именовать «АЛЖИР», сюрреалистическим сокращением, звучащим особенно диковинно и кощунственно в суровые степные зимы («Акмолинский лагерь жен изменников Родины»). Здесь и познакомились будущие родители Гарифа, совсем молодые, студентами попавшие в сталинскую неволю. В памяти художника, конечно, не запечатлелось никаких зримых примет этого смутного и страшного бытия, ему было всего четыре года, когда родителей отпустили на вольное поселение. Но есть иная память, младенческое «я», таящееся в бессознательных глубинах. И этот камертон остался с Басыровым на всю жизнь.

Несмотря на восточную родословную своих предков, художник давно уже ощущает себя москвичом, тем более что со столицей связаны и его первые серьезные художественные опыты, и учеба в МСХШ и во ВГИКе.

Кинематограф и искусство книги, как профессии, остались вне творческого пути Басырова. Родной средой, где ис-



«ОБИТАЕМЫЕ ПЕЙЗАЖИ». ПОЛДЕНЬ-1. 1988.

подволь вызревавшие впечатления и мотивы достигли зрелости, стали журнальная графика, постоянная работа в разных изданиях.

Историкам искусства еще предстоит написать героико-комическую эпопею журнальной иллюстрации застойного времени: «Знание — сила», несколько позднее «Химия и жизнь» и другие журналы превращались в деятельные лаборатории иронического социального искусства, превосходившего своим лукавством, прихотливо завуалированной, но достаточно прозрачной и меткой сатирой, публицистику тех лет. Научно-популярная и научно-фантастическая иллюстрация исполняла ту же роль, что детская литература 20-х, 30-х годов (К. И. Чуковский и «обэриуты»), явившая в обличье пестрого маскарада правду жестокого времени.

Бюрократия отнюдь не благодушествовала, но стимулом для начальственных акций запрета часто становились вещи совсем не программные, а рядовые и случайные. Так, грандиозный скандал, достигший высоких сфер и чуть не приведший к закрытию «Химии и жизни», разразился в середине 1970-х из-за рисунка Басырова, опрометчиво помещенного под рубрикой «Навстречу съезду». На рисунке изображена стандартная колонна грузовиков с кузовами, ломящимися от сельхозпродукции. Только за рулями сидели коровы и быки, а на мешках вместо слов «зерно», «овощи» и т. д. стояли различные наименования синтетических кормовых добавок («лизин» и др.). Изобилие оборачивалось шокирующим сном, где реальная продукция заменялась научно-фантастической фикцией, хотя сейчас уже не разберешься, был ли это издательский ляп, достойный антологии черного юмора, или сознательный сатирический ход.

Карикатура принесла Басырову известность и многочисленные международные премии. Сегодня «Московские новости», «Новое время» и другие издания буквально рвут из рук его свежую продукцию. Его меланхолические алкаши, железобетонные бюрократы, незыблемо возвышающиеся под ударами чугунного ядра, обрели международную популярность. Но сам художник карикатуристом себя не считал и не считает.

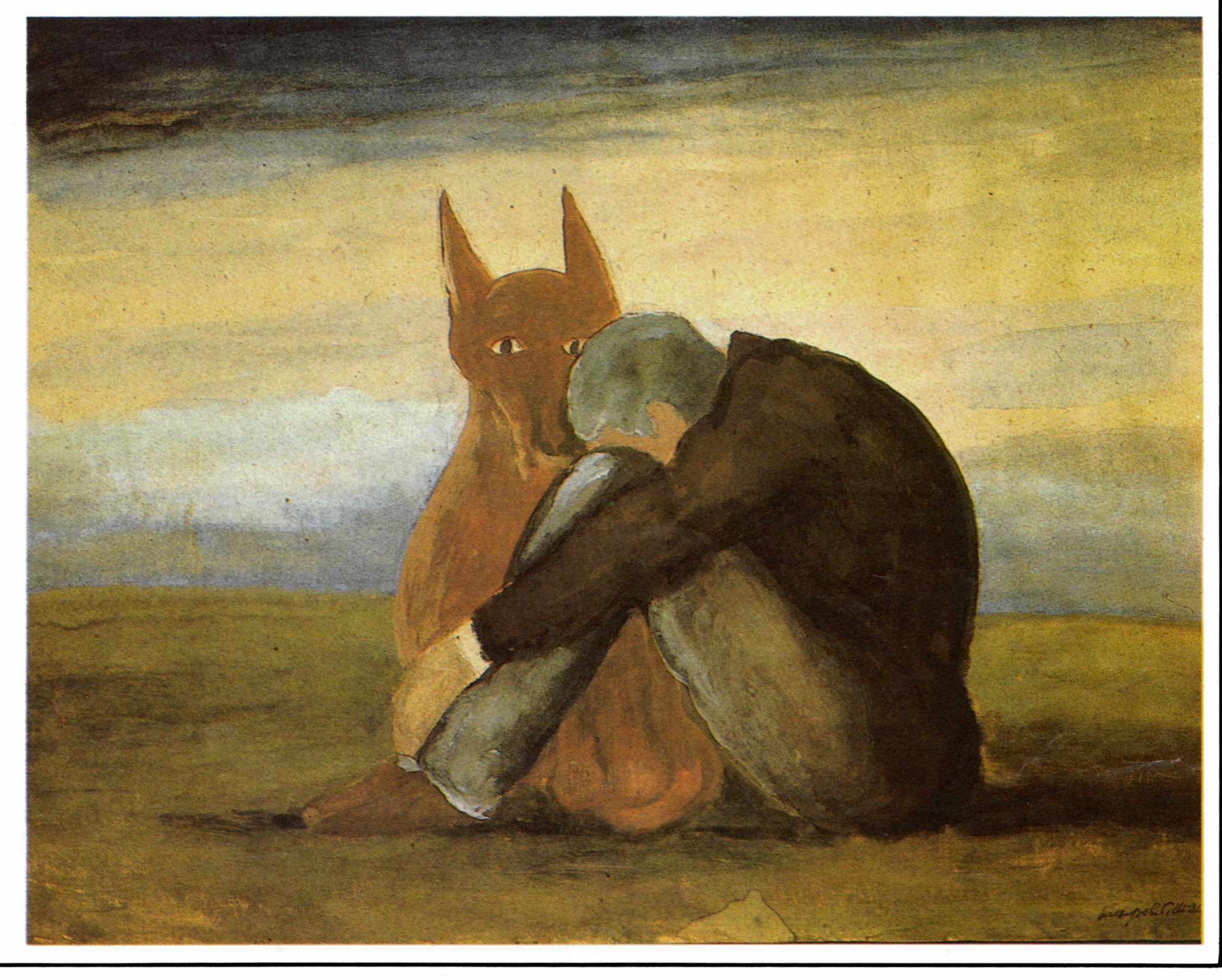
Главным руслом многолетней работы стала для Басырова огромная серия «Обитаемые пейзажи» — все иные циклы так или иначе примыкают к ней наподобие притоков.

Каждому жителю большого города до мелочей ведомы эти пустынные пространства, которые оставляют новые кварталы, устремляясь за окраину, эти полосы отчуждения вдоль железнодорожных путей, поросшие скудными рощицами. Кучи строительного мусора и кубы жилых блоков обрамляют остатки природы, исполняющие роль заложников безликого, одинаково равнодушного и к пейзажной, и к человеческой натуре урбанизма.

Но среди унылых зданий-фантомов герои «обитаемых пейзажей» отнюдь не превращаются в безликую массу, они рассыпаются на группки, в целом образующие пестрое и многоголовое сообщество, некую гигантскую коммунальную квартиру, привольно раскинувшуюся под открытым небом. Милуются влюбленные, подростки очарованно глядят вдаль, жеманные дамы принимают солнечные ванны, пытаются укрыться от нескромного взора любители бормотухи, сосредоточенно сидят, уткнувшись в газету, пенсионеры.

При всей космичности ряда своих композиций Гариф Басыров не акцентирует вселенские по охвату образы, но драматургическая сила его печальных пространств полна мучительного беспокойства: когда спящие проснутся? когда убаюкивающая духовная инерция перестанет быть основой существования, а сон разума сменится бодрствующей энергией реальных, а не воображаемых поступков? При этом художник отнюдь не направляет на публику назидательный перст, предлагая ей немедленно рассчитаться на «своих» и «чужих». Общее поле, общие боли и надежды — это настроение пронизывает листы Басырова, придавая им особую нравственную цельность.

ИЗ СЕРИИ «ВРЕМЕНА ГОДА». ОСЕНЬ.1980.

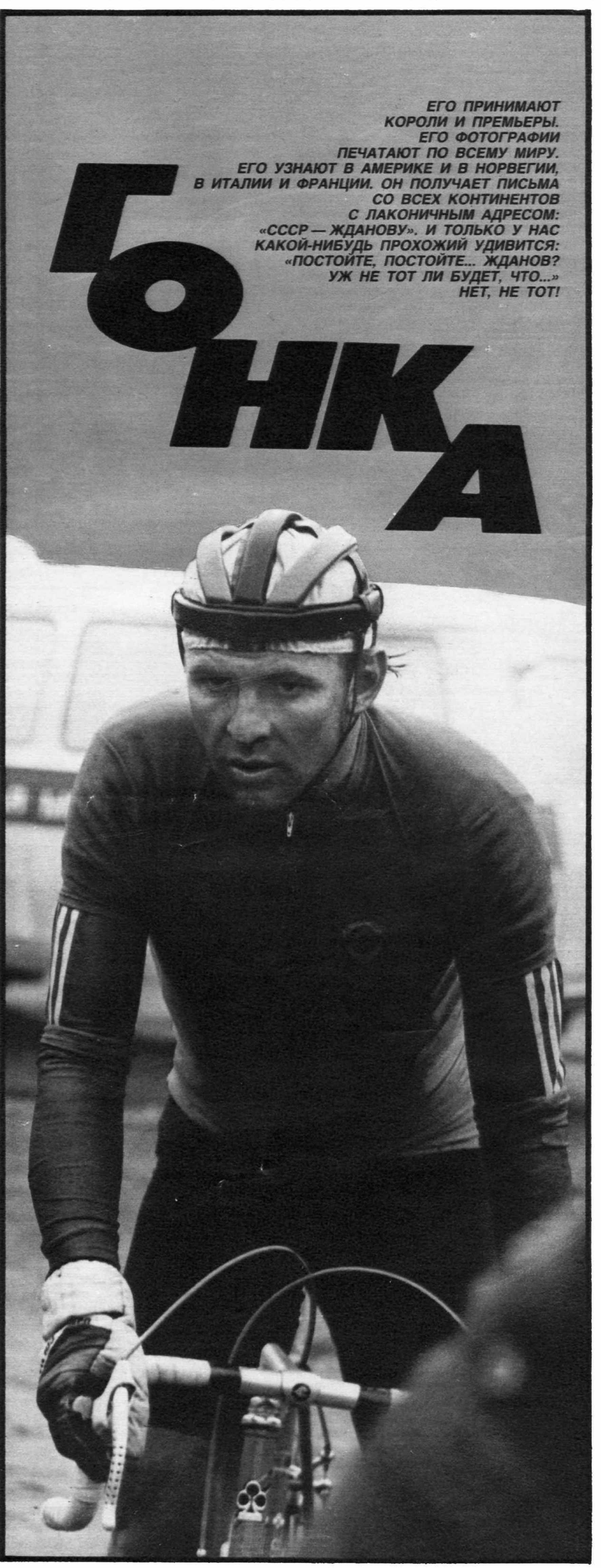


Юрий КРИКУН

Фото
Валентина КАРМИНСКОГО

ГОНКА

ЕГО ПРИНИМАЮТ КОРОЛИ И ПРЕМЬЕРЫ. ЕГО ФОТОГРАФИИ ПЕЧАТАЮТ ПО ВСЕМУ МИРУ. ЕГО УЗНАЮТ В АМЕРИКЕ И В НОРВЕГИИ, В ИТАЛИИ И ФРАНЦИИ. ОН ПОЛУЧАЕТ ПИСЬМА СО ВСЕХ КОНТИНЕНТОВ С ЛАКОНИЧНЫМ АДРЕСОМ: «СССР — ЖДАНОВУ». И ТОЛЬКО У НАС КАКОЙ-НИБУДЬ ПРОХОЖИЙ УДИВИТСЯ: «ПОСТОЙТЕ, ПОСТОЙТЕ... ЖДАНОВ? УЖ НЕ ТОТ ЛИ БУДЕТ, ЧТО...» НЕТ, НЕ ТОТ!



Им гордится страна в общем. А в частности? Что конкретно известно нам о харьковчанине Василии Жданове, велогонщике, обладателе всех высших спортивных титулов?

Как многие именитые спортсмены, он имеет машину. Получил двухкомнатную квартиру в центре Харькова. Увенчан титулами и медалями. И только зарплата его по-прежнему смехотворна, да вены на ногах уже даже во время отпусков опухают, да сердце окончательно поизносилось.

В Советском Союзе его редко кто знает в лицо.

Из спортивной биографии: Василий Жданов. Родился в 1963 году в Белгороде. Заслуженный мастер спорта. До 1989 года постоянно тренировался в Харьковском центре олимпийской подготовки у заслуженного тренера СССР В. Г. Резвана. Чемпион мира 1985 года в командной гонке на 100 километров. Двукратный победитель велогонок мира. Восьмикратный чемпион СССР. Чемпион IX летней Спартакиады народов СССР. Победитель Спартакиады дружественных армий. Трехкратный обладатель Кубка страны. Член КПСС. Капитан и комсорг сборной Советского Союза.

С ноября 1988 года — член первой советской профессиональной команды, выступающей под флагом крупнейшего алюминиевого концерна Европы «Альфа-Люм».

* * *

...Он снова забился в кашле. Потом бросил пропитанный кровью носовой платок в таз с водой.

— Так и платков не хватит.— Попробовал улыбнуться, но улыбка получилась вымученной и какой-то испуганной.

Он присел рядом на диван и внимательно посмотрел мне в глаза.

— Я долго думал, стоит ли начинать этот разговор, поверь. Но потом понял, что обязан именно сейчас рассказать о своей жизни в шкуре советского профи. Наступает момент, когда терпение лопается и хочется поведать о жизни на Западе. О том, как чувствуют там себя наши спортсмены, поставленные Госкомспортом СССР в условия, в которых даже нищенское, разумеется, по их, капиталистическим меркам, существование покажется роскошным. Впрочем, все эти мысли — в моем дневнике. Красным карандашом я отметил те места, которые считаю важнее других.— Он протянул мне стопку общих тетрадей.— Написано в Италии. Читай.

«...Нас пока не перевели в профи, мы считаемся экспериментальной командой, поэтому не имеем права получать зарплату в валюте — нам платят только суточные. Перед выездом в Италию руководители Госкомспорта сказали нам, что не успели оформить все нужные документы. «Вы поезжайте,— уговаривали они нас.— А мы пока переделаем соглашение». Но мне кажется, что они и сейчас не решат эту проблему.

Ведь что получается, мы здесь уже два месяца, а те деньги, которые получаем, действительно не зарплата, а карманные (Госкомспорт определил нам семь долларов в день), уходят на туалетные принадлежности; иногда хочется съесть шоколад, выпить кофе, сходить в кино. Нашу же зарплату в Союзе, что-то около 400 рублей, прозванивают наши близкие, и без этого не обойтись, находиться вдали от дома без поддержки крайне сложно. Понимая наше состояние и видя проблемы, наш хозяин Майкл Бруски выдает нам прибавку к щедротам Госкомспорта в виде 15 долларов ежедневно, то есть платит в 2 раза больше. Неужели он богаче моей страны и мы для него дороже, чем для наших руководителей? Этот вопрос ребята постоянно задают друг другу, но, очевидно, его стоит задать повыше. А впрочем, не стоит. Я сейчас отчетливо вспомнил, как возмущенно реагировали руководители Госкомспорта на наши вопросы о зарплате. «Что вы волнуетесь? — говорили они.— С голоду не умрете. Много говорите о деньгах. А главное — это испытать себя и перенять опыт. Все остальное — не важно. Помните, профи — это одна большая семья, которая сидит за одним столом и делит пирог на части. И каждой команде достанется по своему куску». Про «кусок» сказать нам не забыли. Забыли сказать о тех нагрузках, которые нас ждут. Я ведь и раньше ездил с профессионалами гонки «open». И не просто ездил, а побеждал, притом не только в командном, но и в личном зачете (например, «Молочный тур» — Англия, 1988 г.). Разумеется, я видел, как работают профи, но действительность оказалась иной. Уже на первых тренировках я почувствовал, как у меня работают печенка, селезенка, почки. Раньше такого никогда не было.

Именно сейчас я понял значение денег для жизни. Ведь после окончания спортивной карьеры мы остаемся один на один со своими болячками, никому не нужными. И если нет сбережений, то... А из Италии мы вернемся калеками (хронический простатит и конъюнктивит не в счет), ибо наши организмы не готовы к предложенной им нагрузке. Самое обидное, что в Москве это понимают и без зазрения совести говорят, что создали нам сладкую жизнь: катайтесь, мол, ребята, и участвуйте в нашем хорошо разыгранном спектакле. Но каждый из нас просидел в седле уже более 10 лет и знает цену заработанным своим здоровьем деньгам. Сейчас и наши хозяева поняли, какой контракт они подписали. Не тот, о котором мечтали. До них наконец дошло, что все сотни тысяч долларов, которые они за нас заплатили, осели где-то, а мы ничего не получили и не заинтересованы в победах. Наша команда для Майкла Бруски убыточная. Уже сегодня мы стоим в 1,7 раза дороже, чем любая профессиональная команда.

...Всю первую многодневку ехал с мыслью: буду ли я когда-нибудь ехать так, как они, зачем я сюда попал? Все иллюзии, что мы тоже сильны и будем ехать не хуже, прошли с первым стартом.

...Уже сейчас многие гонщики прямо на твоих глазах принимают по ходу гонки какие-то медикаменты. И мне становится ясно, что без хорошей фармакологии здесь не обойтись.

...Этот бешеный темп держался весь 220-километровый этап. Так все время ехать тяжело. В каждую гору заезжал на зубах. На этапе постоянно болела и кружилась голова. Ног по-прежнему не чувствую — мертвые. Усталость во всем организме. Кашляю. Кашель все время прогрессирует. Плюю кровью. Сегодня гонку почти не видел, все время еле-еле «сидел» в середине группы. Были мысли даже о том, чтобы завязать.

...Утром было собрание. Франкини в очень резкой форме сказал Николаю Григорьевичу Морозову, чтобы он не вмешивался в тренировочный процесс, что здесь ему не Москва, где каждый сам себе начальник, и чтобы твердо зарубил у себя на носу: в команде есть только один тренер — он, Франкини.

И если Морозов не уймется, то поедет домой. Мороз стух и сейчас моет велосипеды.

Но бог с ним, с Морозом. Ибо в первую очередь нужно выгнать не его, а нашего второго наставника — Владимира Брауде. Он заключил десяток договоров с разными издательствами и сейчас строчит заметки о нашей жизни. Ни мы, ни наши беды его не волнуют.

...В критериуме профи развивают такую скорость, что становится страшно, страшно за себя. Я — равнинный гонщик, скоростной, не могу высунуть носа не то что впереди, а даже на 70-й позиции. Мы совсем не готовы к таким скоростям. Сегодня скорость на кольцевых отрезках трассы в конце двухсоткилометрового этапа была 56 километров в час. У нас так не ездят даже в пике сезона (максимум — 48), а тут — его раннее начало.

...Прошло уже четыре этапа многодневной гонки «Джиро де Сицилия». Мне по-прежнему плохо.

...Прошел пятый этап. Сегодня я почувствовал себя человеком, почувствовал себя гонщиком. Что же произошло? Расскажу все по порядку. Начну с того, что я наблюдал на протяжении всех этапов. Когда гонка подходит к концу, то очень часто видишь, что спортсмены пьют что-то из специально подготовленных баночек, пьют какие-то стимулирующие препараты, и после этого усталость у них как рукой снимает, организм чем-то подстёгнут. Да, это допинг, но не в прямом смысле, а может быть, и в прямом, я пока не знаю. Но мысли о том, чтобы попробовать содержимое такой баночки, приходят сейчас как никогда часто, очень уж хочется испытать это неведомое чувство. Многие, а вернее практически все, принимают стимуляторы. У нас тоже они есть у врача и массажиста, но они говорят, что еще рано и мы получим их только когда придет время. Но я отвлекся. Итак, главное. Сегодня я попробовал, но не допинг, а нечто другое. У меня очень болят ноги, мышцы, это бывало и раньше, а сейчас — особенно сильно, не знаю уж, почему. Я постоянно еду со слезами на глазах. Утром я сказал об этом массажисту, и он меня отругал: почему не обратился раньше. Перед стартом он сделал мне укол. Увы, я не знаю, что это был за препарат, но когда я стартовал, то до конца гонки ни разу не почувствовал боли в ногах. Впервые я много атаковал, терзал группу, уезжал в отрыв и радовался самому себе, радовался, что могу работать, что боль не мешает. Весь этап проехал с восторгом. «Вот это да,— думал я,— когда у меня так болели ноги в Союзе, приходилось делать дополнительные тренировки, чтобы боль ушла. На это уходила неделя-другая, а тут — один укол». Я признал фармакологию раз и навсегда именно с этим уколом. Признал фармакологию спортивную и фармакологию вообще. Раньше я о ней только слышал, пользоваться не приходилось, ведь в СССР спортивная медицина — одна видимость; только и есть что поливитамины. Главное — твое здоровье.

Такие мысли переполняли меня весь день, а когда лег спать, подумал: интересно, а завтра тоже нужен укол? Но наутро чувствовал себя нормально. Гонка закончилась оптимистически. И хотя по сумме этапов я занял 75-е место, для меня это роли не играло — мог бы и 175-е. Главное, появились надежда и вера в себя.

Завтра отдыхаем, а через день — опять старт. Так теперь будет всегда. Перерыв у профи между гонками обычно один день, чтобы переехать к месту нового старта. А там утро — и вновь... в путь.

...В том, что спорт — посол мира, я убеждался не раз. И сейчас нахожу этому новое подтверждение. Приведу такой пример: когда во Франции проходит «Тур де Франс», то президент страны берет отпуск и несколько этапов сопровождает гонку в машине почетных гостей. Когда мы вступили в Федерацию профессионального спорта, он сказал: «Я верю, что недалек тот день, когда русский велосипедист проедет по Елисейским полям в желтой майке лидера. И это будет более весомым вкладом в дело мира, чем даже полет в космос русского и французского космонавтов».

Когда в Италии проходит «Джиро де Италия», почти вся страна не отходит от телевизоров на протяжении всех 22 дней гонки. Победителей ждут самые престижные награды. Это неудивительно: на Западе хороших спортсменов высоко ценят. Так, скажем, после победы испанского гонщика Лючо Хиреры в туре Испании его объявили национальным героем своей страны. Был объявлен выходной день, и вся Испания праздновала победу своего земляка. По-моему, задуматься над этим стоит, ибо сейчас наши победы в стране не ценятся вообще. Скажем, за звание чемпиона Советского Союза в парной гонке на 50 километров в 1987 году мне выплатили 70 рублей. А за третье место в I туре чемпионата СССР в индивидуальной гонке на время мне был вручен конверт, содержащий две ассигнации по 3 рубля каждая. Что говорить, не густо. Между тем простые люди считают нас, спортсменов, чуть ли не миллионерами.

...У меня вылетела пломба, и тренер Примо Франкини повез меня с другими ребятами к зубному врачу. Войдя в кабинет, я увидел массу дипломов и кубков с международных конкурсов дантистов. Врач отнесся к нам с уважением, но, глянув на мои зубы, ужаснулся: «Если бы я так лечил зубы, то меня бы клиенты давно кастрировали». Он поставил мне пломбу и выдал письменную гарантию на 20 лет. «Зуб может разлететься, синьор, но не пломба. Если она продержится 19 лет и 11 месяцев, то по этой бумаге я обязуюсь вам лечить бесплатно все зубы». Короче, он поставил нашим ребятам 15 пломб и запросил с Франкини 5 миллионов лир. Мы ужаснулись. Тренер тоже. Тогда доктор сказал, что не нужно считать его «жмотом», он сделает Пете Угрюмову бесплатно все зубы, поставит 22 пломбы. И пусть это будет знаком уважения к русским. В конце доктор сказал, что так, как в России, у них лечили зубы лет 30—35 назад. У них лечат под местной анестезией. Боли нет. Это дает возможность хорошо вычистить полость зуба. Об этом тоже стоит подумать. Я ведь лечил зубы не в общей очереди, а в закрытых клиниках, у классных врачей, труд которых не оставлял без внимания. Но больше 2—3 лет ни одна пломба не держалась. А ведь лечили меня с особым вниманием и бережливостью. Как же, интересно, живут те, кто лечится в больнице на общих основаниях?»

* * *

...Когда ушла на трассу последняя команда и последняя техничка отправилась в путь, стрелка термометра замерла на отметке 40°. И когда в лучах солнца показался Севан, лицо Василия Жданова стало неотличимо от цвета его красной майки. Он даже не заметил, как ожило шоссе. «Поплыл», испаряясь под колесами его велосипеда, залатанный недавно асфальт — и наступила темнота...

Жданов не знал, сколько «это» продолжалось. Красное пятно чьей-то майки вспыхнуло перед ним так же неожиданно, как и исчезло. Промелькнул километровый столбик, и Жданов понял, что позади всего 75 километров гонки. То ли сознание того, что впереди еще целых 25 километров пути, то ли свинцовая боль в ногах окончательно утвердили в нем безысходность ситуации.

Хотелось пить так сильно, что, попадись ему по дороге лужа, он бы обязательно остановился. Со злости Василий выхватил из крепления и бросил на дорогу бачок со слипшейся от жары питательной смесью. И, теряя сознание, он увидел, как уходят с первой позиции без смены Ложкин, железный Наволокин, чемпион мира 1983 года. Увидел и понял, что не имеет права выпасть из команды, ибо остается, по сути, третьим (последним!) зачетником.

В техничке, идущей за велосипедистами, тренеры долго молчали, потом переживания прорвались наружу.

— Сейчас сойдет, сейчас,— шептал Гусятников.— Он сколько еще продержится, а, Виталий?

— Не знаю.

— Сейчас, сейчас сойдет...

— Да что ты заладил!

И вновь они молчали. И вновь не верили.

— Вот сейчас,— шептал на сей раз Резван.— Сейчас...

Но время шло, а спортсмен с номером 16 на спине по-прежнему был в команде, по-прежнему вел свои смены.

Из интервью после финиша

Александр ГУСЯТНИКОВ, главный тренер сборной СССР:

— Я не узнавал Жданова. Он буквально «умирал» в седле. А до чемпионата мира остается чуть больше двух недель.

Виктор КЛИМОВ, гонщик:

— То, что с Васей что-то произошло, понял сразу. Но он на вопросы не отвечал, молча вел гонку.

...Последнее, что он увидел,— была расплывающаяся, подрагивающая фигура одетого в немыслимо зеленый балахон не в меру экспансивного болельщика, стоящего сразу же за какой-то белой чертой. И вдруг (он это даже не сразу осознал) черта и фигура слились в голове Василия в долгожданное понятие финиша. И последнее, что он успел сделать, вцепившись покрепче в руль,— это направить велосипед в сторону «балахона», олицетворяющего собой финишный створ.

Виталий РЕЗВАН, тренер сборной СССР:

— Мы побежали к ребятам. Важно было сразу же разобраться в причинах неудачи. И вдруг за спиной кто-то крикнул: «Жданов!» Я оглянулся и не увидел Васю. К финишу приближался незнакомый мне гонщик в белой майке. Но номер был 16.

Из заключения врачей: «Состояние крайне тяжелое. Полное обезвоживание организма. Уровень гемоглобина значительно ниже, а мочевины выше предельно допустимой нормы. Требуется длительное стационарное лечение».

На дистанцию Жданов вышел, имея 75 килограммов веса, после финиша весил на 12 килограммов меньше. Поэтому и стала белой красная майка, покрывшись коркой соленого пота, и тренер не узнал своего ученика.

Кто-то кричал и махал руками, кто-то уже бежал с ведром воды. Виталий Гаврилович, бесцеремонно заняв одну из черных «Волг», повез Васю в город. По дороге Жданова тошнило, и тренер, прикладывая к его голове мокрый платок, твердил перепуганному водителю: «Быстрее, браток. Быстрее. Я тебе потом всю машину вымою».

Ни одна из пяти больниц Еревана, куда обращался Резван, не приняла гонщика. Слишком серьезна была, по мнению местных светил, травма, слишком известным было им имя прославленного чемпиона. И, когда им отказали в очередной раз, врач команды Юлий Богданов махнул рукой.

— Больше времени терять нельзя. Поехали на базу. Лучше все сделать самим. Так будет спокойнее.

О том, что произошло потом, ходят легенды. Мне доводилось читать не раз о якобы состоявшемся разговоре Жданова с его тренером В. Г. Резваном, когда тот предложил зачеркнуть сезон.

— У тебя сильная травма,— сказал, присаживаясь на кровать, тренер.— Если ты морально сломлен, давай перенесем все планы на будущий год, боюсь, как бы не было хуже.

— Я готов доказать на трассе,— ответил Василий.

Не знаю, кто придумал эту версию ждановского геройства, хотя она очень серьезно переплетается с правдивой историей, имевшей место на XXXVIII велогонке мира. Там, дождавшись Жданова у выхода из гостиницы, один французский журналист спросил, поедет ли он новый этап.

— А почему нет? — удивился Жданов.

— Но после трех падений ваши ноги превратились в сплошную рану...

— Ерунда.

— Неужели не болит? — настаивал дотошный француз.

Гонщик отрицательно покачал головой.

— А ночью спали? — зашел с другой стороны журналист.

— Нет.

Да, этот разговор был. А того — не было. Вернее, вместо него имела место совсем другая беседа.

— Как, очухался, Василий Иванович? Завтра на тренировочку. Через два дня поедешь групповую гонку.

Легко это так сказал, беззаботно, вроде бы предложил бесплатную путевку на «Златы пясцы».

— Ты что, Николай, с ума сошел? — возмутился врач.— Убирайся к черту! После такого теплового удара по месяцу в реанимации отходят.

А вечером зашел Резван. И тогда, глядя в глаза тренеру, Вася сказал:

— Никуда я не поеду. Пропади оно все пропадом, Гаврилович!

И вспомнил, как причитала мать:

...— Не для этого я тебя родила! Чтобы этой дряни в глаза я больше не видела! — И кромсала на куски велосипедные трубки. Это после того, как упал на ровном месте Вася Жданов, не проехав и 2 километров в своей первой групповой гонке по Запорожью. Притерся к чьему-то заднему колесу и «погладил» ногами щебенку. Домой на «Скорой» привезли...

Когда ребята из сборной уехали на тренировку, осторожно спустившись в ангар, он вывел свой велосипед. Сегодня — 12 километров. Завтра — уже 130. А через две недели в Италии он стал чемпионом мира в командной гонке на 100 километров; благодаря ему, в частности, команда показала лучший результат на этой дистанции за всю историю велоспорта. 1 час 51 минута 09 секунд — их рекордное время. Повторит ли его когда-нибудь другая команда?

* * *

...Однажды мы лежали ночью на чемоданах в Домодедове (погода капризничала, поэтому коротали ночь в аэропорту), не спали. Это было года три назад, зимой. С пола тянуло холодом. Мешали топот ног, объявления диктора о задержках рейсов. Мы лежали под одной курткой и говорили о превратностях судьбы. Вот тогда-то я и спросил его, почему в тот знойный августовский полдень он не сошел с гонки, а почти 25 километров вел ее без сознания. От удивления он даже приподнялся на локте:

— Да ведь каждая моя смена помогала ребятам. Им тоже было нелегко.

— Но ведь ты был рядом со смертью. Понимаешь?

— Было,— пробурчал он. И, помолчав, добавил: — Когда ты пацан, то редко задумываешься о смерти. А я был пацаном... Однако знал, что нужен команде. Вот и все.

* * *

...И вот теперь после его отдыха в Союзе мы снова встретились.

— Насколько известно, кроме суточных, вы будете получать часть денег, выигранных на этапах? — спросил я Жданова.

Василий рассмеялся.

— Именно часть. Вопрос — какую? На слух звучит убедительно — 45 процентов. Допустим — я говорю «допустим», потому что это возможно лишь во сне! — мы выиграли десять тысяч долларов. Значит, наша доля — четыре с половиной. В команде четырнадцать гонщиков да еще четверо из технического персонала. Делим данную сумму на 18 и получаем 250 долларов на человека. Впечатляет? Для того, чтобы заработать такие деньги, нужно выиграть минимум 10 этапов! За первые два с половиной месяца мы финишировали 15 раз и лишь трижды были третьими.

— В прошлом году ты выиграл одну из престижнейших гонок, «open» (с участием как любителей, так и профессионалов.— **Ю. К.**), «Молочный тур» в Англии. Каковы там были призовые?

— Я выиграл шесть тысяч долларов. Из них мне досталось 400, остальные пошли Госкомспорту. Это грабеж. Только русские могут ездить за такие крохи. Ирландец Келли, ведущий профессиональный гонщик, получает миллион долларов в год. А ведь такой суммой оценил Госкомспорт всю нашу команду, за которую выступают двукратный олимпийский чемпион Гинтаутас Умарас, олимпийский чемпион Сергей Сухорученков, двукратный чемпион мира Александр Зиновьев и еще одиннадцать королей трассы. Если сами себя совсем не ценим, как же требовать уважения от других? Но бог с ними, деньгами. Обидно другое. Почему Госкомспорт не видит дальше сегодняшнего дня, не заглядывает в будущее? Почему бы, к примеру, не условиться с фирмой «Альфа-Люм» о тренерской стажировке кого-нибудь из гонщиков после истечения контракта?

— У тебя есть кандидатура?

— Да. Александр Зиновьев, единственный в нашей стране двукратный чемпион мира в командной гонке на сто километров и победитель «Дружбы-84» в индивидуальной гонке, мог бы, я уверен, подучившись на Западе, успешно руководить в будущем сборной страны. Нужно только уже сейчас подумать об этом.

— И все-таки что больше всего удивило тебя в езде профессионалов?

— Умение дорожить собой. Там, если гонщик выполнил свою задачу или вдруг почувствовал себя плохо, он может сойти с дистанции, чтобы сберечь силы на завтра. А у нас? Помнишь, я сошел с дистанции (кстати, первый раз в жизни) на Кубке страны 1987 года? И что?.. В сборную команду на чемпионат мира меня не включили. И это при том, что я был чемпионом Союза в командной и парной гонках, выиграл два тура чемпионата страны в разделке, победил в Берлине в прологе 40-й велогонки мира! Там спортсмену доверяют, а у нас нет. И вообще там все совершенно другое. Я даже девиз на обложке дневника записал, которым пользуются их гонщики: «Не надо ездить много, надо ездить быстро». Не правда ли, существенно отличается от известного лозунга Капитонова, 17 лет стоявшего у руля сборной: «Давай объём, поедем — всех побьём».

Жданов задумался:

— А если уж совсем честно, то ехать туда больше не хочется. Когда мы летели на отдых в Союз, я даже сказал Саше Зиновьеву: «А, может, ну его, останемся дома»? Но Шура меня не поддержал, ответив, что нужно съездить еще на пару месяцев, а потом принять решение исходя из состояния здоровья...

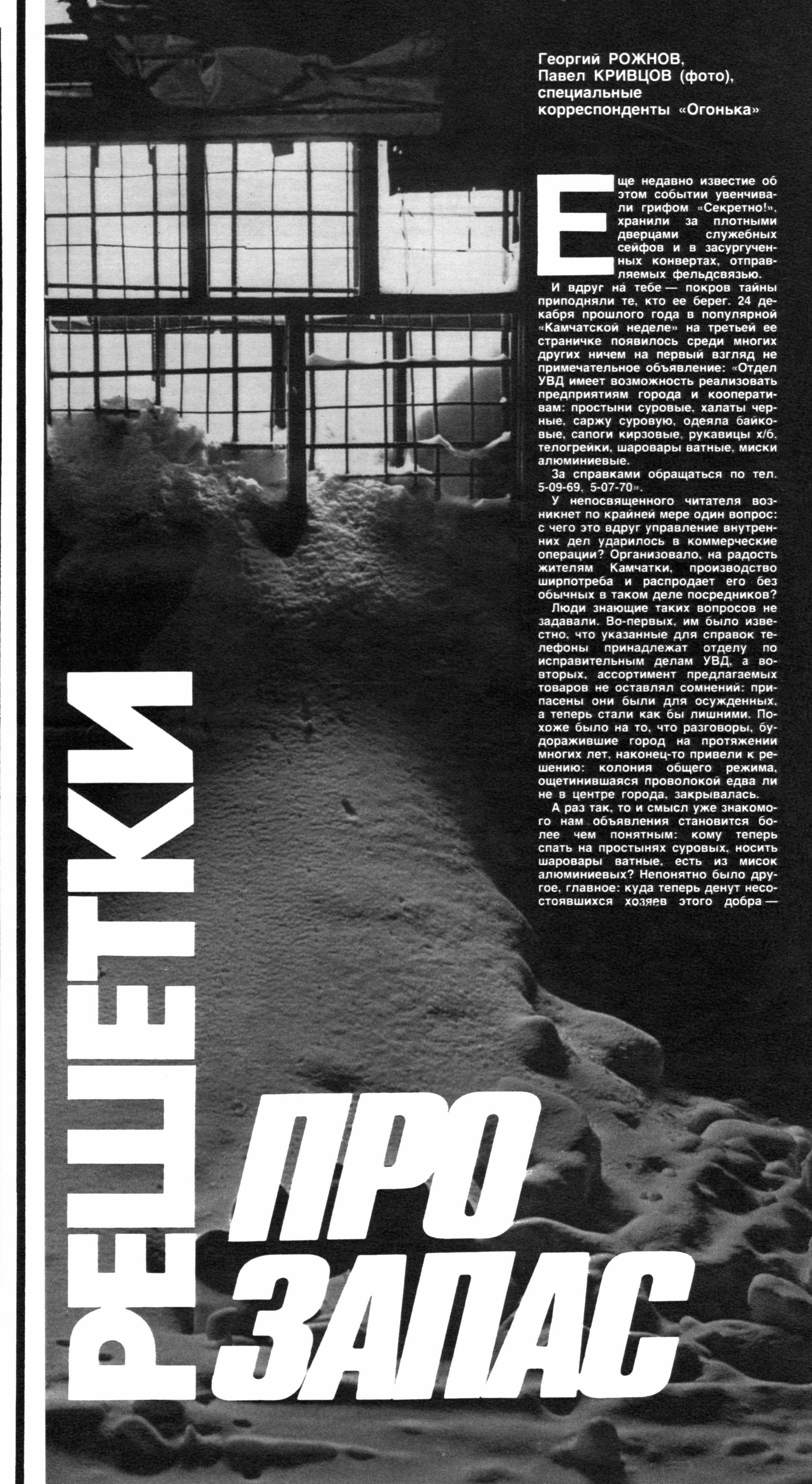
* * *

...Через три дня я провожал их в аэропорт.

— Может, все-таки останемся? — спросил у Саши Василий.

— Поедем! — ответил Зиновьев.

Но в его голосе я больше не почувствовал уверенности.



РЕШЕТКИ ПРО ЗАПАС

Георгий РОЖНОВ,
Павел КРИВЦОВ (фото),
специальные корреспонденты «Огонька»

Еще недавно известие об этом событии увенчивали грифом «Секретно!», хранили за плотными дверцами служебных сейфов и в засургученных конвертах, отправляемых фельдсвязью.

И вдруг на тебе — покров тайны приподняли те, кто ее берег. 24 декабря прошлого года в популярной «Камчатской неделе» на третьей ее страничке появилось среди многих других ничем на первый взгляд не примечательное объявление: «Отдел УВД имеет возможность реализовать предприятиям города и кооперативам: простыни суровые, халаты черные, саржу суровую, одеяла байковые, сапоги кирзовые, рукавицы х/б, телогрейки, шаровары ватные, миски алюминиевые.

За справками обращаться по тел. 5-09-69, 5-07-70».

У непосвященного читателя возникнет по крайней мере один вопрос: с чего это вдруг управление внутренних дел ударилось в коммерческие операции? Организовало, на радость жителям Камчатки, производство ширпотреба и распродает его без обычных в таком деле посредников?

Люди знающие таких вопросов не задавали. Во-первых, им было известно, что указанные для справок телефоны принадлежат отделу по исправительным делам УВД, а во-вторых, ассортимент предлагаемых товаров не оставлял сомнений: припасены они были для осужденных, а теперь стали как бы лишними. Похоже было на то, что разговоры, будоражившие город на протяжении многих лет, наконец-то привели к решению: колония общего режима, ощетинившаяся проволокой едва ли не в центре города, закрывалась.

А раз так, то и смысл уже знакомого нам объявления становится более чем понятным: кому теперь спать на простынях суровых, носить шаровары ватные, есть из мисок алюминиевых? Непонятно было другое, главное: куда теперь денут несостоявшихся хозяев этого добра —

осужденных? Вопрос далеко не праздный для их матерей, отцов, жен, детей. Добро бы, была на Камчатке еще одна зона общего режима — этапировали бы в нее не досидевших на старом месте срок преступников, и ездила бы родня с передачами и на свидания по новому адресу, только и всего. А если такое учреждение — единственное на весь полуостров? Тогда остается одно: везти переселенцев то ли в Приморье, то ли в Хабаровский край. Вот это уж беда так беда: попробуй покатайся от Петропавловска-Камчатского до того же Владивостока хоть два-три раза в год — никаких северных надбавок не напасешься. А если у кого из родителей и годы уже не те, и со здоровьем неладно, не увидят они своих непутевых детей немыслимо долгие годы.

Все эти вопросы, все разом возникшие тревоги многочисленная родня осужденных обрушила на начальника колонии майора Васильченко.

Евгений Ильич, обомлев поначалу и от множества посетителей, и от их лобовых вопросов, показал в улыбке свои ямочки на впалых щеках и решился, гласность так гласность: да, все правда. Дождемся приказа — и в путь-дорогу. Куда? А вот этого остающийся без подопечных начальник и правда не знал.

И пока длилось это незнание, пока руководители УВД тормошили Москву, а та все отмалчивалась, каждое утро и каждый день до самого вечера видел Васильченко одни и те же лица и ту же тревогу на них. И хуже всего на душе





у начальника было оттого, что почти все его воспитанники — совсем еще мальчишки, впервые угодившие за колючую проволоку за преступления, не являющиеся тяжкими. Трудновато каждому из них придется и на этапе, и в новой зоне, в которой еще неведомо какие порядки и какая атмосфера среди старожилов: упаси бог, если встретят они камчатцев так, как, например, на Сахалине, где не раз едва до ножей не доходило.

Когда спустя полтора месяца после публикации знаменитого объявления я приехал в доживавшую последние дни колонию, Васильченко уже слег — прихватило сердце, а с ходоками беседовал его заместитель по политработе майор Рудюк. И так же улыбался, и так же разводил руками — нечего ему было ответить.

Странно было ходить по зоне, которая по прошлой службе на Камчатке помнилась мне всегда многолюдной, всегда грохочущей, ухоженной. Горы неубранного снега, мусора, наледь, куски металла и щепы под ногами. Цеха заколочены, половина общежитий тоже. Рассчитанная на пятьсот человек, колония обычно принимала в свои стены и поболее, но с годами стала пустеть: и суды перестали отвешивать парням сроки за ящик украденной сдуру сгущенки, и амнистия прошлого года выпустила на волю едва ли не каждого третьего. Так и дожили до того дня, когда и конвойная рота, и десятки офицеров, прапорщиков и вольнонаемных опекали едва ли не такое же количество осужденных. Не бессмыслица ли? Закрыли же в прошлом году на той же Камчатке одну за другой две колонии — строгого и усиленного режимов. Все потому же: отсидевшие срок или «скостившие» его осужденные уходили, а пополнения как не было, так и нет! А потому вполне естественным было то, что в одной бывшей колонии разместили складские помещения и базу рыбкоопа, а строения другой перешли во владения леспромхоза. Одну добротную солдатскую казарму мигом перестроили во вполне современный детский сад, а вторую приспособили под общежитие для лесорубов.

Хожу сейчас по опустевшей зоне



так преуспели в борьбе с преступностью, что и сажать-то в пустеющие колонии уже некого? Зачем же иначе открывать настежь ворота ста с чем-то там колоний и двери камер следственных изоляторов?

Хочу теперь вспомнить: когда именно нас стала покидать заданная еще в Москве эйфория? Тогда, когда мы увидели, как на месте порушенной в центре Петропавловска колонии уже под крышу возводится солидное по здешним меркам новое здание отдела по исправительным делам? Того самого ОИД УВД, который сейчас торгует шароварами и мисками, а не сегодня-завтра лишится последних подчиненных ему колоний? Или когда узнали, что и рыболовецкие кооператоры, и лесопромышленники до сих пор трудятся за оградой из нетронутой ни лопатой, ни бульдозером колючей проволоки и прочно стоящих по всему периметру вышек? Или прозрение наше стало наступать после лобового вопроса заведующего государственно-правовым отделом обкома партии Е. Н. Урбана:

— Если сегодня мы закрыли ряд колоний, то кто поручится, что их не придется открыть завтра? Что, снова тогда будем возводить охранные сооружения — ставить заборы, стены, обматывать их проволокой, оснащать сигнализацией? Нет уж, пусть стоят, как стояли — запас карман не тянет.

Чем объяснить эту подстраховку Евгения Николаевича, его откровенное неверие в необратимость сокращения количества осужденных хотя бы в масштабах одной только Камчатки?

Только одним: достоверным знанием положения дел в подведомственных ему административных органах, трезвым анализом отнюдь не утешительных результатов борьбы с преступностью.

Исправительно-трудовые учреждения, как можно понять и неспециалисту, существуют не сами по себе — они лишь одно из звеньев многосложной системы органов внутренних дел. Попробую объяснить это проще, доходчивее: если милиция будет успешно обезвреживать преступников и представлять судам бесспорные доказательства их вины — ни камеры следственных изоляторов, ни бараки колоний пустовать не будут. Короче говоря, отказаться от этих постылых для любого общества учреждений можно лишь при том непременном условии, если большинство его граждан будут свято блюсти закон и не помышлять о его преступном нарушении.

Как же далека от жизни эта идиллия! В те дни, когда мы гостили на Камчатке, оперативная сводка дежурного по УВД свидетельствовала: взломаны замки на дверях пяти кооперативных гаражей, предпринята неудачная попытка ограбления сбербанка, со склада автобазы украдено 66 литров спирта, в своей квартире избита и изнасилована одинокая женщина, совершено разбойное нападение, случаев краж и хулиганства — несчетно. Узнали мы и о том, что за одну только неделю после нашего приезда на полуострове совершено на сорок восемь преступлений больше, чем за предыдущую, когда мы еще из Москвы не уезжали. Всего же за эту семидневку милиция зарегистрировала 151 заявление о совершенных преступлениях, из которых 72 раскрыла по горячим следам.

Но неделя, разумеется, не показатель, взглянем на уголовную статистику хотя бы в сравнении прошлого года с позапрошлым. Вывод тревожный: количество преступлений, зарегистрированных только по линии уголовного розыска, возросло за год на тридцать процентов. Еще тревожнее то, что удельный вес не раскрытых за 1988 год преступлений составил 40,5 процента. Я прикинул, что называется, на глазок и потерял покой: оказалось, что на воле прохлаждается почти тысяча неотловленных милицией ворюг, хулиганов, насильников. Догадываетесь теперь, для кого приберегают на Камчатке и камеры СИЗО, и проволоку с вышками?

Впрочем, колонии пополняет не милиция и не прокуратура: их дело — преступника обезвредить и провести предварительное следствие. Судьбу же его будет решать суд, и только он вправе определить меру наказания: то ли наложить штраф, то ли приговорить условно, то ли оставить под стражей. Так вот — в прошлом году из 1310 человек, осужденных камчатскими судами, лишь 342 были лишены свободы. Невероятный, немыслимый еще два-три года назад расклад, когда те же суды отвешивали годы заключения за украденный подростком велосипед, потасовку двух подвыпивших соседей или излишнюю по тем временам самодеятельность предприимчивого хозяйственника. Не правда ли, просятся сейчас на бумагу такие выражения, как «гуманизация судебной практики», «подвижка к созданию правового государства»? Но я от них воздержусь. При назначении наказаний, не связанных с лишением свободы, суды руководствовались более уважительным, чем бывало ранее, отношением к закону и здравым смыслом — во всяком случае, мне пока не известен ни один случай, когда бы со скамьи подсудимых отправился домой преступник, совершивший тяжкое преступление. А это значит, что в расставленные милицией сети попадается, как принято говорить, чаще всего «мелкая рыбешка» и среди нераскрытых преступлений много тяжких: убийств,



и начинаю понимать, что близящаяся с каждым днем ликвидация этого осточертевшего городским властям тюремного ведомства — не случайность, а лишь еще одно подтверждение наметившегося в нашей правоохранительной системе процесса. Ах, если бы он был однозначно прост — в какие бы давно забытые фанфары мы бы сейчас протрубили! Какие бы красивые словеса выстроились: «Казарма — детям!», «Воспитатели — без воспитанников!», «Прощай, колония!». А фотографии, снимки какие могли бы подтвердить нашу бескрайнюю радость: вот под ножом бульдозера валится навзничь сторожевая вышка, вот скручена в никчемный моток колючая проволока, а вот мускулистая рабочая рука вдребезги разбивает решетки камер штрафного изолятора!

Одна только просьба: не спешить высмеивать меня за мои почерпнутые из застойных времен фантазии, не так уж они потешны, как кажется на первый взгляд. Рискую, конечно, но признаться надо — еще во время многочасового полета на Камчатку наш фотокорреспондент видел мысленно именно те картинки, которыми я только что похвалялся. А как еще, спрашивается, было нам реагировать на такое вот сообщение Главного (объединенного) управления по исправительным делам МВД СССР: за последние три года численность осужденных в исправительно-трудовых колониях сократилась на сорок процентов! Несовершеннолетних в ВТК — на сорок пять процентов! Только в прошлом году закрыто свыше ста колоний! И хоть эта потолочная статистика, к которой все еще тяготеет МВД, не позволяла нам понять, в сто пятую или в сто пятнадцатую по счету закрываемую колонию мы сейчас направляемся, счастливая безмятежность все более поселялась в нас обоих. А вам, читатель, не хочется при этих отрадных цифрах так захлопать в ладоши, чтобы бурные аплодисменты перешли в овацию? Смотрите — только на одной Камчатке из пяти существовавших там колоний две уже исчезли, а закрытие третьей мы увидим собственными глазами. А увидев, непременно поймаем себя на шальной мысли: выходит, мы

изнасилований, разбойных нападений, краж личного имущества граждан. Вот уж по кому действительно тюрьма плачет!

И такое положение не только, разумеется, на Камчатке...

Не так давно МВД СССР впервые за многие десятилетия сделало достоянием гласности статистику преступности и борьбы с ней уже в масштабах страны. Те, кто хоть бегло взглянул на частокол ранее секретных цифр, мигом отметили знак беды: преступность не только растет, но и имеет уже стойкую тенденцию к этому. Хотелось бы, конечно, проследить ее поступательность на протяжении хотя бы нескольких лет, но удовлетворимся двумя годами — прошлым и позапрошлым. Направление главного удара преступников выявляется сразу же — против личности, против человека, против нас с вами. Итак, постараемся представить себе, какое половодье человеческого горя стоит за такими вот цифрами (в скобках покажем темпы прироста за год): 16 тысяч 710 умышленных убийств (+14,1 процента), 37 тысяч 191 умышленное тяжкое телесное повреждение (+31,6), 17 тысяч 658 изнасилований (+5,3), 12 тысяч 916 разбойных нападений (+42,8), 67 тысяч 114 грабежей (+44,4), 548 тысяч 524 кражи личного имущества (+36,6). Отметим, и это главное, что каждое из этих злодеяний произошло не вдруг, не в результате помрачения ума или всплеска эмоций. У каждого из негодяев был точный расчет, продуманный умысел, а потому и удавшиеся убийства, изнасилования, разбои, грабежи, кражи. Но если подобные мерзости совершаются, как правило, без свидетелей, то так называемая уличная преступность неистовствует на наших с вами глазах, средь бела дня или при ярком свете фонарей — здесь, на улицах и в переулках, на площадях и в скверах и убивают, и насилуют, и калечат. Прежде всего, по данным МВД СССР, такое стало типичным в Молдавской и Киргизской ССР, в Северо-Осетинской АССР, в Свердловской и Магаданской областях.

Помню, с каким восторгом была встречена эта долгожданная подвижка к гласности со стороны МВД СССР — ведь обет молчания оно свято хранило аж с 1933 года. Что ж, и за это робкое на первых порах приподнятие занавеса можно бы действительно сказать спасибо, если бы не серьезные сомнения в том, что и эти более чем скромные данные являются безукоризненно точными. Статистика, например, уверяет нас, что мошенничество в стране снизилось на 9,8 процента, а спекуляция возросла лишь на 4,3 процента. У профессиональных розыскников эти цифры вызывают лишь улыбку: при нашем повальном дефиците изворотливые люди наживаются и на мыле, и на телевизорах, и на автомобилях, но привлечь за спекуляцию удается лишь дилетанта или ненормального. Чтобы убедиться в этом, достаточно раз-другой прогуляться на Рижский рынок в Москве или на толкучку в любом из городов. Что же касается мошенников, то кому не известно, что они почти поголовно переквалифицировались то ли в наперсточников, то ли в карточных шулеров, деяния которых, оказывается, вовсе не подпадают ни под одну из статей Уголовного кодекса, а потому и не учитываются.

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов так называемую латентную преступность: это может быть и кража, и грабеж, и даже изнасилование, о которых потерпевшие по тем или иным причинам предпочитают не заявлять. Сюда, разумеется, входит и рэкет — мы уже не раз слышали по телевидению откровенные признания кооператоров в том, что они предпочитают выплатить вымогателям оброк, но с милицией не связываться. На эту покорность, как я полагаю, их подвинули не только страх, но и трезвый расчет: а не попадет ли мое заявление в руки именно того стража порядка, который в среде рэкетиров свой человек? Знают ведь из той же статистики, что за последние три года около 600 работников милиции уличены в совместных с преступниками действиях? Что сами работники органов внутренних дел украли у государства ни много ни мало пять миллионов рублей?

А если от этого заявления попросту отмахнутся, заволокитят его или спрячут в долгий ящик? В прошлом году, например, МВД СССР проверило жалобы граждан, обращавшихся в милицию за помощью и не получивших ее. Знаете, сколько сокрытых преступлений в ходе этой проверки удалось выявить? Миллион!

Успокаивает только одно: руководство МВД СССР не намерено отныне скрывать ни огрехов, ни просчетов в своей работе. Пример в этом подал министр внутренних дел СССР, генерал-лейтенант В. В. Бакатин, заявивший честно и нелицеприятно: «Можно смело утверждать, что уровень преступности в стране значительно выше, чем сегодня фиксирует статистика».

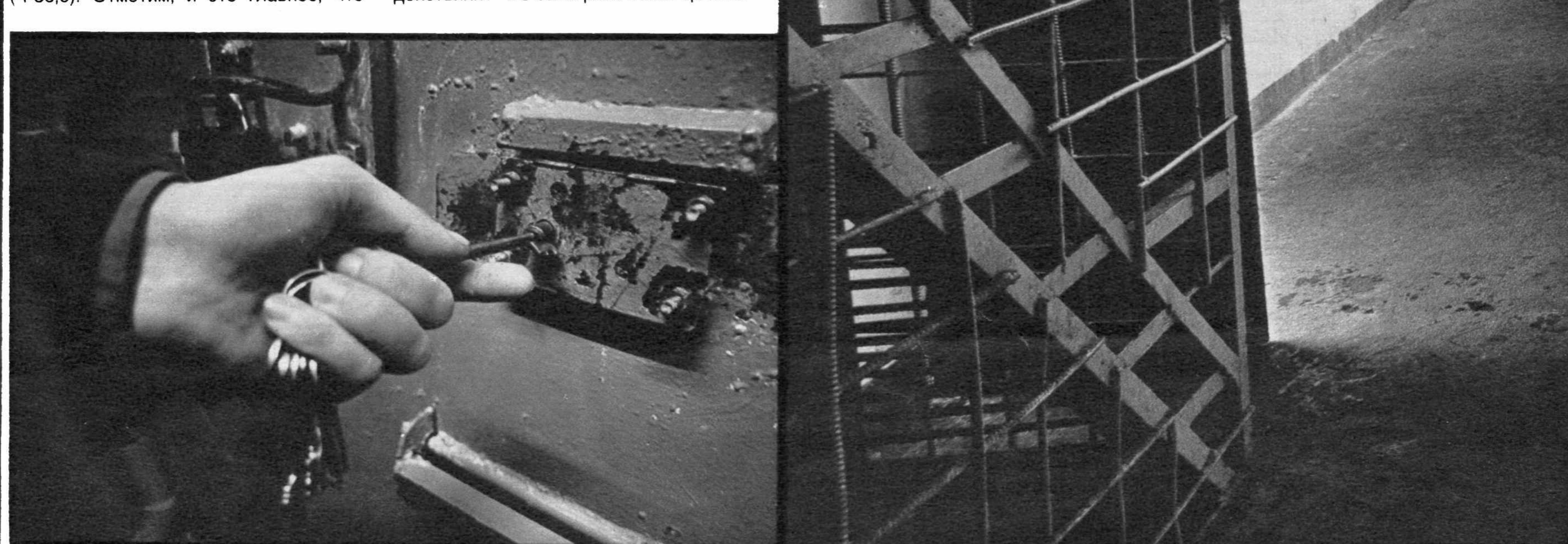
Из этого смелого признания просятся два вывода. Первый: искажение статистики объясняется не стремлением министерства утаить от нас правду, а несовершенством учета и подсчета совершенных в стране преступлений. Второй: наша с вами безопасность подвергается гораздо большей угрозе, чем можно было предположить из почерпнутой выше информации.

И дело даже не в том, что в минувшем году жертв преступных посягательств было гораздо больше, чем нам известно. Кстати, и первые месяцы нового года не снимают тревоги: в январе и феврале зарегистрировано на 75 тысяч преступлений больше, чем за то же время года восемьдесят восьмого. Но не это, повторяю, усугубляет нашу общую беду. Другое: только по линии уголовного розыска и следствия за прошлый год не раскрыто 463 тысячи преступлений. 1558 убийств остались неотмщенными — на свободе, среди нас с вами ходят те, кому давно надлежит сидеть за решеткой и колючей проволокой. А ведь ничто так не подталкивает убийцу на поиски новых жертв, как собственная неуловимость и безнаказанность за уже однажды содеянное: сошло с рук раз, сойдет и другой, и третий. Всего же в стране не раскрыто два миллиона уголовных дел — не сочтешь, пожалуй, сколько проходящих по ним лиц месяцами и даже годами находятся в пока безуспешном розыске. Разве это не открытый вызов безопасности общества, личной защищенности каждого его гражданина?

Предвижу вопрос, ставший в таких случаях непременным: куда смотрит милиция? И почему столь плачевны результаты ее противоборства с преступным миром?

Отвечу сразу: милиция болеет теми же болезнями, что и все наше общество, частицей которого она является. Ее полностью обновившееся руководство справедливо видит единственный путь возвращения доверия граждан в коренной перестройке всех направлений деятельности органов внутренних дел — нет недостатка в планах, программах, прогнозах. Понятно, что говорить об их реальной отдаче мы будем еще не скоро. А что же сегодня, сейчас, когда преступность перешла в наступление по всему фронту? По крайней мере два решающих фактора работают пока против нас. Первый — потеря профессионализма. Да и откуда ему быть, если каждый второй сотрудник уголовного розыска работает менее трех лет? Если только у половины сыщиков высшее специальное образование? Второй — синдром перестраховки. За восстановление соцзаконности взялись так рьяно, а борьбу с ее нарушителями повели столь круто, что не обошлись, как это мы умеем, без административных перегибов. К чему все это привело, мы уже видели в более чем красноречивых цифрах пусть и несовершенной, но все же официальной статистики. Впрочем, и без нее можно себе вообразить, каково сегодня служить в милиции,— достаточно читать в газетах хронику происшествий или смотреть по телевизору ленинградские «600 секунд», редко обходящиеся без перестрелок и поножовщины.

Вот на этом-то тревожном фоне и продолжим начавшийся было разговор об опустении исправительно-трудовых колоний — легче, а стало быть, и успешнее работается теперь сотрудникам? Но перед этим я хочу предупредить читателя, что вместо цифр, к которым он уже привык, в моем лексиконе могут появиться такие выражения, как «примерно», «свыше», «около» и даже «по слухам». Объяснение тому





кое негодование, что я не рискую цитировать его дословно, а лишь перескажу суть услышанного. Прежде всего, Петр Григорьевич напомнил мне, что колонии закрывает главк, а не журнал «Огонек», который лезет явно не в свое дело. Затем я узнал, что такими статьями, как «Беспредел» и «Лесоповал», мы намеренно осложнили обстановку в ИТУ, посеяли семена раздора между осужденными и администрацией. В итоге вместо испрошенного интервью я получил сокрушительную генеральскую выволочку, которая мне так хорошо знакома по годам былой службы и о которой я так неосмотрительно стал забывать сейчас.

Впрочем, об этом телефонном разговоре я, пожалуй, и не вспоминал бы, если бы не увидел его прямой связи с еще одним взрывом читательского негодования. На этот раз — на страницах ежемесячного журнала «Воспитание и правопорядок», издаваемого МВД СССР для сотрудников ИТУ. В мартовском номере, как и полагается, слово предоставлено женщинам в офицерских погонах. Послушаем, что волнует майора внутренней службы А. Сорокину, помощника начальника учреждения по политико-воспитательной работе с личным составом: «...беспокоит падение престижности профессии сотрудника органов внутренних дел, чему в немалой степени способствует и пресса. Многие мои коллеги говорят о завышенно критическом отношении прессы, радио, телевидения к органам, исполняющим наказание. Я с ними согласна. Критика — вещь необходимая. Однако она не должна превращаться в охаивание. Тем более что в погоне за сиюминутной сенсацией журналисты порой не понимают, что наносят вред делу укрепления правопорядка, исправления и перевоспитания осужденных. Выражая свое личное мнение, скажу, что статьи типа «Беспредел» и «Лесоповал» искажают действительность, поскольку односторонне отражают проблемы ИТУ. Понятно, нам, людям, посвятившим жизнь борьбе с беззаконием, исправлению и перевоспитанию правонарушителей, обидно и больно читать такие опусы. Какую цель преследуют их авторы? Не сводят ли с системой МВД какие-то свои личные счеты?»

Такую оценку печатного слова, такие обвинения в адрес журналистов, такие прозрачные намеки и подозрения были бы понятны и уместны и пять, и двадцать, и пятьдесят лет назад, когда именно «письма с мест» довершали погром любого инакомыслия. Но сегодня-то, когда мы так дружно ратуем за перестройку и гласность — зачем?

Пусть мой вопрос останется без ответа — и у майора внутренней службы Сорокиной, и у тысяч ее товарищей по службе должны быть другие заботы, другие цели, чем никчемные поиски правых и виноватых. Не проникнемся ими, не отдадим службе и только службе весь свой профессионализм, всю энергию души, свое личное желание добиться перемен — и будем еще долго разводить руками при продолжающемся разгуле преступности и росте рецидива. Поэтому поймем главное: ни на ссоры, ни на раздумья, ни на раскачку просто нет ни времени, ни морального на то права. Слишком тревожна и очевидна угроза, чтобы мыслить и поступать иначе.

проще простого: если милицейские главки первый шаг к гласности сделали, то ГУИД МВД СССР все еще секретничает. Вынужден напомнить, что еще летом прошлого года я спрашивал со страниц «Огонька»: сколько всего наших сограждан лишены свободы? Предвидя, что этот вопрос повиснет в воздухе, я просил назвать хотя бы две цифры: сколько в ИТК и ВТК содержится впервые судимых, а сколько — рецидивистов? Прошел год — ответа как не было, так и нет. Напрасно искал я эти таинственные цифры и в той статистике, которую главк представил в марте — нет их и там. Что это — государственная тайна, разглашение которой вызовет сумятицу в умах, подорвет устои и будет лить воду на не нашу мельницу? Видимо, так, потому что когда в том же марте состоялась встреча писателей и журналистов с работниками ГУИД и тот же вопрос задали заместителю начальника отдела В. А. Светлову, тот даже в лице изменился: «Я присягу давал! Присягу!» А если бы меня черт дернул спросить о количестве исправительно-трудовых учреждений в стране? Если бы поинтересовался, сколько из них общего режима, а сколько строгого? Надеюсь, понятно, что движет мною отнюдь не праздное любопытство. Знай мы этот расклад, поняли бы и общую тенденцию развития преступности: на «общаке», как в определенной среде выражаются, сидят впервые осужденные за менее тяжкие преступления, а на «строгаче» — рецидивисты. Так кого больше, тех или других? Не знаю. Как не знаю и того, насколько обеднел ГУИД после закрытия ряда колоний и сможет ли он удержаться на пятом месте среди промышленных министерств страны? Сто с лишним закрытых колоний — много это или мало? А сколько осужденных, ранее содержавшихся в них, отправились в путь-дорогу, и куда? И как эта миграция сказалась на состоянии режима, выполнении государственного плана и вообще на всем процессе перевоспитания в новой среде обитания? Не могу знать!

Достоверно известно лишь одно: в прошлом году осужденными совершено 3 тысячи 600 преступлений, в том числе 238 умышленных убийств, 437 тяжких телесных повреждений, 426 хулиганств, 245 сопротивлений представителям администрации, 66 случаев нападения на работников ИТУ и захвата заложников из их числа. Статистика эта не вызывает сомнений в справедливости того, о чем мы уже писали не раз: оперативная обстановка в ИТУ страны неблагополучна, непредсказуема и взрывоопасна. Сидя на голодном информационном пайке, много ли я могу сказать о причинах этого бедствия? Только то, в чем убеждает меня собственный опыт работы в ИТУ: каждый случай неповиновения администрации, а тем более нападения на ее представителей вызван неправильными, непрофессиональными, а то и противозаконными действиями офицеров и прапорщиков. Прошу пока поверить на слово: у меня есть чем подкрепить и доказать это утверждение. И ссылки на то, что после амнистий в колониях остались наиболее опасные преступники, чья психика уже непоправимо искалечена и неоднократными судимостями, и длительным сроком заключения, и господствующей еще вчера политикой завинчивания гаек, только подтверждают мои давние опасения: личный состав ИТУ, ратующий и сейчас за ужесточение режима, не готов пока ни к гуманизации, ни к демократизации процесса воспитания. А без этих непременных слагаемых о какой перестройке можно вести речь, на какие перемены надеяться?

Как ни очевиден этот вывод — и в главке, и на местах его продолжают оспаривать, искать причины неблагополучия не в стенах колоний и следственных изоляторов, а за их пределами. Ну, например, почему бы не возложить вину за обострение обстановки в ИТУ на журналистов — разве после их писаний не лихорадит то одну, то другую, то третью зону?

Впрочем, вот запись моего телефонного разговора с первым заместителем начальника ГУИД МВД СССР генерал-майором внутренней службы П. Г. Мищенковым — он состоялся в начале марта. Дерзнул я тогда попросить о беседе по вопросам, связанным с закрытием ряда ИТУ. Первая же моя фраза едва не стала последней — она повергла моего высокого собеседника в та-

ОТ РЕДАКЦИИ. Когда этот материал был подготовлен к печати, в «Огонек» поступило письмо из ГУИД МВД СССР. Первый заместитель начальника главка П. Г. Мищенков извещал нас, что «направление корреспондентов в исправительно-трудовое учреждение в г. Петропавловске-Камчатском нецелесообразно».

В свете этого откровенного запретительства нам особенно приятно поблагодарить Камчатский обком КПСС, облисполком и УВД за содействие и помощь нашим корреспондентам в выполнении задания редакции.

УБИЙСТВО В СПАЛЬНОМ ВАГОНЕ

БИБЛИОТЕКА **ЗАРУБЕЖНОГО** ДЕТЕКТИВА

Себастьен ЖАПРИЗО

РОМАН

Комната была четыре метра на три. Потолок, как в мансарде. Стены выкрашены белым, в углу — маленькая ниша, где помещались газовая плитка, шкаф, умывальник и — о, роскошь,— душ в целлофановом мешке лимонного цвета.

— Я все приберу,— сказала Бэмби.

Сандрина постояла еще несколько минут. И вдруг заявила:

— У вас прекрасное платье. У вас прекрасная прическа. Как вы ее делаете? У вас прекрасные туфли. У вас прекрасный душ, вы не находите?

Она все находила прекрасным. А так как Бэмби не отвечала, вытаскивая из чемодана и раскладывая вещи, то стала рассказывать о конторе, произнеся длинный монолог, который слышала только она сама. Прекрасная была контора.

Около полудня Сандрина внезапно ушла, пообещав прийти вечером, а Малыш уснул на постели.

Комната уже преобразилась из-за фотографий на ночном столике, книг на полках, плюшевого медведя на постели, которого Малыш зажал под мышкой.

Бэмби приняла душ, надела красный махровый халат, купленный вместе с мамой, одновременно с большим портфелем.

Она застала Даниеля сидящим на постели, с всклокоченными волосами, уставившимся в одну точку. Его разбудил шум воды. Она сказала:

— Примите душ. Вы, вероятно, грязны, как трубочист или клиент Армии спасения. Я не хочу, чтобы у меня появились блохи. За это время я оденусь.

Одеваясь, она посмотрела в сторону душа и увидела через занавеску тень Малыша. Он был худ, как жердь. Она не знала, что с ним делать.

— Как мне выйти?

Она протянула ему свой махровый халат, и он вышел, блестя мокрыми, как у нее, волосами. Рукава ему были до локтя, чувствовал он себя неловко, вид был несчастный. На ней была одна комбинация, и она как раз искала новые чулки. В тот момент он и сообщил:

— В купе лежала мертвая женщина.

Если бы мы сразу пошли в полицию, думала Бэмби, ничего бы не произошло. Меня бы не стали завтра увольнять, я бы написала маме, что первые дни прошли успешно.

Площадь Шатле была освещена неоном, статуя стояла на своем месте, мост тоже. И она пошла прямо, думая о том, что он уже проехал Дижон, но мог и переменить решение и сесть в обратный поезд. Прекрасно представляю себе, как он стучится сейчас в мою дверь в два часа ночи.

То, что обычно ни с кем не случается, с ним случалось непременно.

В субботу они вышли из комнаты в час дня, но сначала тихо все обсудили, сидя рядышком на постели, как злоумышленники, потому что ни он, ни она не могли говорить о таком событии нормальным голосом.

— Я вас оставил на скамейке. И пошел к поезду. Я уж не помнил, какой у нас был вагон. Но в конце концов нашел его. В проходе слышались голоса. В нашем купе. Я стал ждать в соседнем.

Разговаривали мужчины. Один начальственным тоном. У другого был странный кашель и голос явно больного человека. Только потом, в такси, мне это кое-что напомнило. Но тогда я не обратил внимания. В тот момент меня не интересовало, о чем они говорят. Я ждал, когда они уйдут. Я боялся, что это контролеры и они спросят мой билет. В любом случае я боялся. В их голосах было что-то, что вызывало страх, хотя смысл слов и не доходил до меня. Они пробыли там еще две минуты, может быть, больше. Я услышал, как открылась и закрылась дверь. Прошли не мимо моего купе, а в другую сторону, к выходу с вокзала. Я подождал, когда они сойдут, и отправился в наше купе, чтобы взять чемодан. Брюнетка лежала на нижней полке слева на спине. Я никогда не видел мертвых, но, можете мне поверить, она была мертва. Я схватил чемодан и ушел, закрыв дверь. Никто не видел, как я сошел с поезда. В нем никого не было. Вас я нашел на скамейке.

Он по десять раз повторял одни и те же фразы, слово в слово. Сначала Бэмби нашла историю идиотской, затем начала беспокоиться о мальчике, стала обсуждать с ним разные версии. А потом решила снова, что история идиотская.

Из-за того, что он был встревожен и немного смешон в ее халате, она стала говорить ему «ты».

— Когда ты услышал голос больного мужчины, это тебе что-то напомнило. Что именно?

— Одного типа, который вчера вечером уезжал из Марселя. Я сидел на откидном кресле около туалета. Он стоял в следующем вагоне у прохода, и я видел его через тамбур. Он кашлял, не переставая, и все время прочищал горло. Время от времени поглядывал на меня. На нем было серое пальто, в руках — пляжная синяя сумка с эмблемой Прованса. У меня была такая же на карманчике блейзера. В это утро он стоял в нашем коридоре. Я мог бы его опознать: он бледен, очень худ и выглядит больным.

Малыш оделся, повернувшись спиной к Бэмби, которая не без страха увидела его рваные носки, трусики, скорее серые, чем белые, темные полосы на воротнике рубашки.

— У тебя нет чистого белья?

— Знаете, за восемь дней у меня не было возможности помыться. И потом, я все равно не сумел бы постирать. Вы не можете отвернуться?

Не спрашивая разрешения, она осмотрела его чемодан. Увидев серебряные ложки среди грязного белья, она подумала: так же нельзя, надо убедить его написать родителям, вернуться домой.

— Ты можешь сменить костюм. Там есть другой.

— Он в масле.

По дороге он упал в яму гаража. Хотел осмотреть мотор грузовика, который вез его в Марсель.

— Я оступился.

Не в силах объяснить себе, почему, Бэмби не стала надевать другое платье.

На улице ей стало немного холодно. Они долго бродили и около двух часов зашли в ресторан. В полупустом зале, под пристальными взглядами двух официанток снова и снова обсуждали ситуацию. Бэмби считала, что надо пойти в полицию и все рассказать. И в то же время не хотела этого делать — из-за мамы, из-за его самовольной поездки. Он тоже не хотел — наверняка кто-то свел счеты. Эта история их не касалась.

Ресторан был приятный, с маленькими занавесками в квадратиках и с бретонскими тарелками на стенах. Малыш заказал улитки, спросив Бэмби, не дорого ли это, и почти один выпил полбутылки красного вина из Бандоля, что в департаменте Вар. Он не умел пить, а так как слишком много говорил и почти ничего не ел, в конце трапезы был здорово взвинчен.

Он курил сигареты Бэмби, щеки его раскраснелись. Это ему очень шло, а глаза стали совсем, ну совсем маленькие. Она по-прежнему не знала, что с ним делать.

Они опять пошли в сторону улицы Бак. Она купила в лавке сигареты «Житан» (ей они не нравились, но он заявил, что предпочитает их американским). Уже собираясь взять одну из пачки, он вдруг сказал: надо кое-что проверить, у меня есть идея. Оставил ее прямо на тротуаре бульвара Сен-Жермен, перебежав улицу и едва не оказавшись под колесами проходящих машин. С той стороны он крикнул, что вернется к вечеру и заберет чемодан. Они смотрели друг на друга издалека. Бэмби подумала: он еще наделает глупостей, но раз уж я начала, придется продолжать, я не могу отпустить его. Он убежал.

На Вер-Галан, под статуей Генриха IV, Бэмби остановилась и взяла из кармана конфету. Это была апельсиновая карамелька. Двое влюбленных целовались, стоя у решетки сада, на берегу реки.

Пройдя вдоль Сены до Тюильри, она найдет улицу Бак. Дома разденется в темноте, чтобы не слишком вспоминать прошедший день, закроется подушкой и поговорит сама с собой, чтобы уснуть.

Она снова увидела Даниеля на ступеньках вагона, два или три часа назад. Почему он больше не был похож на того кретина, с которым она познакомилась в первый вечер? Почему все так быстро меняется, что вы сами себя не узнаете?

Он появился за пять минут до отхода поезда. Бежал по платформе с чемоданом в одной руке, с плащом в другой. На измученном, постаревшем от усталости лице глаза казались еще больше и чернее.

У нее хватило мужества, пока она ждала, купить ему билет, вечернюю газету, пакет конфет, узнать, есть ли в поезде вагон-ресторан, а когда он оказался перед ней, не пытаться удержать его.

— Ты ушла из конторы?

— Да.

— Ты спятила.

— Ну и что?

— Ты спятила.

— Я без ума от тебя.

Она пожалела, что сказала это. Это было подло, она сделала ему больно. Он не захотел брать конфеты.

— Мне кажется, я все понял.

— Что?

— Все. Они наверняка убьют еще кого-то. Кажется, я понял.

— Кого убьют?

— Не знаю. Надо вернуться и поговорить с папой. Он знаток в этих делах. К нему приходят обедать префекты полиции. У нас не будет неприятностей.

Он поцеловал ее нежно, как в ту ночь.

У нее, наверное, был идиотский вид — с конфетами в руке, которые он не хотел брать. Она продумала, какие фразы сказать ему, потому что про себя прожила сцену его отъезда уже сто раз. В конце концов они ничего не сказали друг другу. Выглядел он усталым, беспокоился за нее, за себя и думал только о той истории. Он ведь был мальчишка. Мальчишки смотрят на вас, думая о другом, а потом в поезде вспоминают, не забыли ли поцеловать вас, и бывают очень несчастны.

В последнюю минуту, заметив, что поезд отходит, он, наконец, увидел ее, Бэмби, на проплывающей мимо платформе — в синем пальто, кажется, непричесанную, кажется, некрасивую, с пакетом конфет

Продолжение. См. «Огонек» №№ 15—19.

в одной руке и двумя тысячами, которые она ему протягивала,— в другой. И все, что он нашелся ей сказать, было:

— Черт, не бросай меня одного.

— Это не я тебя бросаю.

Она бежала по перрону. Он взял деньги и помахал ими, как платком.

— У тебя-то что-нибудь осталось?

Ей казалось, что она сходит с ума, ну просто сходит, когда вот так бежала по перрону, ожидая, что он скажет хоть слово, не важно какое, чтобы затем вспоминать его, чтобы как-то жить. А он лишь повторял:

— Я все верну!

Она крикнула, потому что вагоны пошли быстрее. Он повис на дверце, да так неловко, что мог свалиться, а это было бы вовсе несправедливо:

— Даниель!

— Я оставил в комнате записку! Там все правда!

Он тоже кричал. Ну вот и все; теперь видны были только два билета по тысяче франков, которые издалека выглядели платком. Поток людей подталкивал ее к выходу. Дождь прекратился.

Так она и оказалась перед главным подъездом вокзала, с ощущением поцелуя на губах, с карамелькой во рту, с пустой коробкой спичек, которую бросила на край тротуара.

В субботу вечером Сандрина пришла часам к шести вечера. Они ждали вместе, разговаривали о конторе, Авиньоне, Нанте. Сандрина тоже была белокурая, но более худая. Она говорила, что Бэмби такая же полненькая, как Дани Робен. Что, мол, похожа на Дани Робен, но моложе. Сандрина считала, что Дани Робен прелесть.

В конце концов, устав его ждать, они написали записку на двери и вместе отправились к Сандрине.

Ее комната была побольше. Там был и маленький коридорчик, настоящая кухонька. Сандрина накрыла на троих, не сомневалась, что придет Малыш. Приготовила котлеты в сухарях и ростбиф с горошком.

— Он это любит?

— Не знаю. Это дальний родственник, знаете ли. Я знакома с ним столько же, сколько с вами.

Малыш пришел часам к десяти, когда они кончили ужинать. Он витал в облаках, поцеловал обеих в щеку, как делают благовоспитанные дети, придя в гости.

Почти ничего не ел и произнес не больше двух слов. Позже признался Бэмби, что в ресторанчике близ Восточного вокзала съел бифштекс.

— У тебя были деньги?

— Утром, когда вы умывались, я взял у вас тысячу франков.

Она не нашлась, что сказать, пока они шли до улицы Бак. В дверях дома он попросил, избегая ее взгляда, не сердиться на него, он не знает, как быть. И все повторял: как это ужасно.

— Что ужасно? Написать папе и маме и попросить прощения? Послушай, ты безответственный тип.

Бэмби понравилось это слово. Она чувствовала себя старшей, покровительницей. Она никак не могла поверить, что стала взрослой и старой.

Было 11 часов вечера. В доме все стихло, лишь текла вода в трубах отопления. Бэмби сняла с постели тюфяк, взяла простыни, разделила одеяла — одно положила на тюфяк, другое на матрас. Она не смотрела на него. Он не смотрел на нее. А так как был единственным сыном своих родителей и куда более целомудренным, чем маленький семинарист, то пошел раздеваться за занавеску душа.

Вернулся в полосатой пижаме, с буквами Д. К. на кармане (Даниель Краверо), размахивая руками и поглядывая на Бэмби заискивающим и недоверчивым взглядом. Она была в белой комбинации, босиком и тут заметила, что без туфель на высоких каблуках ниже его ростом.

Он вытянулся на матрасе, в другом углу комнаты, подложив руку под голову и вздыхая. Бэмби погасила свет, чтобы надеть ночную сорочку. Она чувствовала себя неловко, но скорее от раздражения, чем от стеснения.

В темноте, когда она легла, он сказал, что ужасна история в поезде, а не его собственная. Если бы она не сердилась на него из-за тысячи франков, которые он все равно вернет, он бы показал ей газету.

Она зажгла свет и прочитала газету.

— Они и вас найдут.

— Бомба, Бомба, таких фамилий много.

— Все куда ужаснее, чем вы думаете.

Сказал, что днем, после обеда, когда ушел от нее, думал, что полицейский арестовал убийцу в купе. Теперь же, вечером, он знает, что это не так.

— Кто же убийца?

— Больной человек. Не представляешь, что я испытал, когда об этом подумал. Может, из-за вина, не знаю. Непонятно только, как и почему там оказался полицейский и арестовал того в купе. Теперь я уж ничего не понимаю.

— Ну и глупо.

Когда Малыш находился рядом, самая большая глупость становилась похожей на правду.

Мы проговорили целый час, вспоминала Бэмби, шагая по улице Бак. Он ел бифштекс, ожидая Кабура, он стибрил у меня тысячу франков, подумал о «Прожин» — и позвонил в «Прожин», выследил Кабура, который повздорил с брюнеткой. Он был хитер и бестолков. А потом заснул на полуслове. На матрасе на полу. Утром мы вместе убрали постель. Это было вчера, в воскресенье.

— Куда вы сегодня?

Она надела черное платье, которое очень шло ей.

— Никуда. Уберу комнату и постираю. А ты напишешь родителям.— Она уже представляла себе, как они оба, Малыш и Бэмби, позабыв эту историю, о которой больше никогда не услышат, тихо заняты каждый своим делом — он пишет письмо, она подшивает занавески, купленные накануне, потом трогательно прощаются. Он будет посылать ей новогодние поздравления, и это воскресенье станет далеким, а потом и вовсе забудется.

Но все случилось иначе. Она не стала подшивать занавески. Он не сел писать письмо. Он заставил ее пересаживаться из такси в такси, от набережной Орфевр до Трокадеро, от Клиши до бегов в Венсенне, осуществляя некий замысел и разыгрывая в своем мятом твидовом костюме детектива.

Бэмби утром успела выстирать его белье. Когда они вернулись, оно было уже сухим — две рубашки, майка и ее трусики с кружевами. Все это висело рядом: нет, я больше не смогу жить в этой комнате!

В полдень, когда они шли по следам брюнета (там были брюнет и блондин-инспектор, которые выглядели не старше Малыша), то оказались прижаты друг к другу на лестнице дома на улице Дюперре, где стояли, не смея пошевельнуться. Рот Даниеля был так близко, что в конце концов Бэмби не могла уже ни о чем больше думать. В своей жизни она целовалась только с двумя парнями: с кузеном, когда ей было 13 лет, чтобы решить для себя, что при этом чувствуешь, и с товарищем по курсам, на вечеринке у подруги, потому что немного выпила, а тот был настойчив. Даниеля терзали совсем другие заботы, когда он стоял, прижавшись к ней. Тогда-то он разорвал ей вторую пару чулок.

Вечером, после бесконечных поездок по Парижу, они оказались на набережной, поужинали рядышком в шумном ресторане, и Бэмби рассказала ему про Авиньон. Она больше не хотела слышать об этой истории. Возвращаясь, взяла Даниеля за руку и так шла с ним до улицы Бак.

— Мне жаль, что я порвал ваши чулки,— сказал он наверху.

Он не отвернулся, пока она их снимала. Бэмби сама не понимала, что с ней: испытывает ли она усталость или желание снова почувствовать его губы. Долгую минуту они смотрели друг на друга, ничего не говоря. Она сидела, держа в руках чулки, с голыми ногами, в черном платье, а он — стоял в плаще. Затем она сказала какую-то глупость, о которой сразу же пожалела, что-то вроде: почему ты на меня так смотришь?

Он не ответил и спросил, может ли все же остаться. Она хотела спросить: почему все же? Но не смогла...

Он долго молча сидел на постели в плаще, пока она сама с собой заключила договор: если ему и мне суждено завтра оказаться в тюрьме, у мамы будет еще больше оснований упасть в обморок. Я поцелую его, и тем хуже для меня.

Она наклонилась над ним, босоногая, в своем черном платье, и нежно поцеловала в губы, повторяя про себя: тем хуже, тем хуже, тем хуже.

Он не сделал того, чего она ожидала. Он только очень быстро наклонил голову, обнял ее ноги и остался в таком положении, прижавшись лицом к ее платью,— неподвижный, молчаливый мальчик.

В этот вечер, как и в субботу, и в воскресенье, Бэмби всякий раз искала изображение морковки на соседнем баре, чтобы по ней найти улицу Бак. Морковка была красная, как и другие детали вывески. На лестнице второго этажа ей пришлось зажечь свет. Она все ждала, что опять услышит шум воды в трубах отопления. Медленно и тихо поднимаясь по лестнице, она вспоминала: молчаливый, неподвижный мальчик. Только спустя некоторое время, не поднимая головы, он стиснул руки, большие руки, на которые она обратила внимание еще час назад в ресторане, уже тогда зная, что будет дальше.

Третью пару чулок он разорвал на другое утро — сегодня утром! — уронив ее на постель, когда она была уже наполовину одета. И выругался — просто не судьба, а она притворилась, что сердится, чтобы он был нежен, как ночью, потому что утром все было иначе, потому что ей было нелегко узнать теперь себя и его. Но все было правдой — та же ласковая кожа, те же ласковые губы. Нет, ночь не была сном.

Четвертый этаж, еще один. Свет, как и отопление, не работал.

Пошарив в темноте, она протянула руку, чтобы зажечь его опять. Я искала в темноте его губы, я так и не уснула в его объятиях всю ночь, мой Даниель, мой Дани, любовь моя, тем хуже для мамы, тем хуже для завтрашнего дня, тем хуже для меня... А вот и свет.

Что же он такое понял? О чем не сказал мне тогда на вокзальном перроне? В полдень она села в такси, чтобы быстрее вернуться домой, немного пьяная после бессонной ночи и шума пишущих машинок, с еще больными губами. Сказала себе: все должны увидеть по моему лицу, что случилось ночью. Она нашла его в ресторане с бретонскими тарелками, куда заходили в первый день. Было много народа, и они смотрели друг на друга молча, не в силах произнести ни слова. Он не рассказал ей о своей охоте в Париже.

Бэмби поднялась на верхний этаж, занимаемый прислугой, повторяя, что ляжет спать в темноте,— прочитаю его записку завтра, не хочу ее читать, нет, хочу. В полдень все было ужасно, мы не знали, что говорить друг другу. Ей хотелось все бросить, чтобы хоть на минуту вернуться в комнату. Он понял. Прижавшись к его щеке, я говорила глупости. Он раздел меня, был таким же нежным, как ночью. **Господи, это правда. Он вернулся. Даниель снова тут.**

Она увидела свет под дверью. Ей показалось, что она ошибается. Нет, это была ее дверь. **Он пересел на другой поезд, он был здесь.**

Она пробежала в темноте через площадку, потому что лампочка выключилась снова, кругом стало темно, только полоска света видна под дверью и еще — из замочной скважины. Этого быть не может, ему негде было сойти с поезда, чтобы пересесть на другой, но все равно, кто-то ждет меня. Она надавила на дверь и сразу вошла.

Револьверный выстрел оставил запах чего-то терпкого. Сандрина лежала, прислонившись к постели, со странно подвернутыми, словно ватными, ногами. На полу валялся табурет. Рука ее впилась в красный репс покрывала, а лицо было такого же красного, как покрывало, цвета.

На ночном столике лежало письмо, оставленное Даниелем,— листок, сложенный вчетверо, а на черной коже сумочки Бэмби отражался свет верхней лампы — круглой, желтой, ослепляюще яркой.

Спустя некоторое время — часа через два или три, точно уже не помнила,— она находилась в номере незнакомого отеля со светлой мебелью, на улице около Дома Инвалидов. Бэмби стояла в своем синем пальто, прижавшись лбом к стеклу, по которому хлестал дождь.

В правой руке у нее была зажата записка Даниеля «я люблю тебя», написанная неразборчивым почерком, наспех,— ничего другого, комочек бумаги, который она прижимала ко рту, который она сжимала зубами.

Она цеплялась зубами за это «я люблю тебя», чтобы не думать о Сандрине, которая занесла ей сумочку, не думать о том ужасе, который был написан на лице Сандрины, не думать о том, что та заменила ее. Это я должна была лежать на покрывале постели. Завтра я пойду в полицию. Я люблю тебя, я жду, когда ты окажешься в Ницце, чтобы тебе не причинили зла, я больше ни о чем не думаю, только о «я люблю тебя», ни о чем другом.

СПАЛЬНОЕ МЕСТО № 225

Эвелин-Берт-Жаклин Лаверт, супруга Гароди, двадцати семи лет, красивая, хорошо сложенная, длинноволосая брюнетка, ростом 1 м 60 см, особые приметы: скрытная, лживая, упрямая, легко раздражаемая, с ужасом рассматривала своими большими синими глазами розовую папку, которую Малле протягивал ей через стол, сняв с подоконника. После убийства девушки из Авиньона «курс трупа» понизился еще на 35 тысяч франков.

— Пяти вам мало?

— Вы с ума сошли! Вы мерзкий тип!

Она начала хныкать, обхватив голову своими красивыми руками, сидя в совершенно новом, только чуть ношенном замшевом пальто.

— Вы все время лжете!

— Нет, я не лгу!

— Вам так хочется стать шестой?

— Что вам сказать? Я ничего не знаю.

— В купе было шесть человек. Остаетесь вы. Другие тоже ничего не знали. Им прострелили голову потому, что они ничего не знали. На этот счет мы согласны с вами. Тогда скажите то, чего вы не знаете.

Она упорно мотала головой. Малле полистал розовую папку и бросил в корзину рядом с собой.

— Желаю удачи,— сказал Грацци.— Продолжай.

Он вышел из-за стола с ощущением тошноты. От усталости или от отвращения.

— Ну, как она там? — спросил Таркэн.

— Через час-два расколется.

Грацци сел в кресло перед столом, положив ногу на ногу, с записной книжкой в руках.

В утренних газетах писали об убийствах Кабура, Элианы Даррэс и Риволани. В своем 38-м автобусе Грацци заметил, что пассажиры оглядывались на здание филиала «Прожин», в котором работал Кабур.

— Новости поступают со всех сторон. Два дня назад все они могли бы быть использованы. Но теперь...

— В чем дело?

— Во-первых, «Прожин». В субботу кто-то позвонил на коммутатор, чтобы узнать адрес Кабура. Мужской голос. Утверждал, что является клиентом и готовит список деловых подарков к Рождеству. Возможно. Вероятно, именно таким образом он и нашел этого бедолагу.

Грацци вычеркивал фразы из своего блокнота.

— Затем Риволани. У него были долги.

— У меня тоже,— сказал Таркэн.

— Даррэс. Во время обыска у нее в квартире обнаружили выписки из банковских счетов, но не чековую книжку.

— Ну и что? Вероятно, кончилась, и она не успела получить новую. А ты что думаешь?

— Досадно то, что я где-то видел эту книжку.

— Где же?

— В ее доме, когда подобрал ее сумочку в лифте. Кажется, я положил потом сумочку где-то в комнате.

— Ребята из отдела опознаний не впервые что-то теряют. Безголовые. Остается позвонить в банк.

— Звонили. Жан-Луп говорит, что у нее на счету 200 или 300 тысяч и все в порядке, кажется.

— Тогда оставь меня в покое с твоими историями. Мы только запутаемся. В любом случае он в наших руках.

Спустя 45 минут, что-то около 10 часов, позвонили из Марселя: никаких следов Роже Трамони в Приморских Альпах. Отель, в котором ежегодно останавливался официант, находился в Пюже-Тенье. Прочесали все пансионы такого рода в департаменте.

Опознавательные данные на Трамони были сообщены в отделения полиции: среднего роста, 37 лет, волосы густые, шатен. По мнению Таркэна, этот человек и получил 700 тысяч франков на улице Круа-де-Пети-Шан.

— Никаких следов новых купюр,— сказал Грацци.

Номера были сообщены им накануне в 5 часов. Теперь они уже всем известны. Это были 14 купюр по 500 новых франков.

— Даже если он будет неосторожен, раньше чем через день-два они не появятся в обращении. Это псих. Возможно, он их еще не обменял.

— Мы предупредили мать маленькой Бомбá, чтобы она приехала из Авиньона опознать свою дочь. В конторе, где она работала со вчерашнего утра, никто не хочет этим заняться. Ее почти не знали. К тому же этот подлец так ее изувечил, что и мать родная не узнает.

— Дальше, Грацци.

— Она убежала из конторы около 4 часов, как сумасшедшая, неизвестно почему. Об этой малышке, к несчастью, мы ничего не знаем. Ни друзей, ни знакомых в Париже. Документов при ней не было, как и у Кабура. Только фотографии в комнате. Ее обнаружили около десяти вечера. Габер наконец-то напал на ее след, но опоздал на 15 минут. Ее убили в 9 или 9.15 вечера. Еще час — и осталась бы жива. Таксист запомнил пальто. Кажется, она была очень красива. Он отвез ее на улицу Бак вместе с парнем. О последнем ничего не известно.

— Что еще?

— Ничего. Ничего существенного. В баре Марселя хозяева говорят, что Роже Трамони был из тех, кто увлекался игрой, не участвуя в ней. Это он принимал ставки на бегах и отмечал, сколько кто выигрывает. Записывал все проданные номера лотерейных билетов. Когда кто-нибудь выигрывал десять тысяч франков, говорил: «Это я бы мог выиграть. Деньги уплыли у меня из-под носа».

Грацци закрыл книжечку, сказав, что для этого есть определение.

— Знаю,— сказал патрон.— Мазохизм.

У него самого в это утро было помятое лицо мазохиста. Грацци встал, сказал: ладно, когда его возьмут, он сам им займется, а так как патрон не отвечал, спросил: что вас тревожит, печень или что другое?

— Пушка,— сказал Таркэн.— Красотка, задушенная в поезде, и кольт 45-го калибра, с подпиленными пулями, не вяжутся друг с другом. И еще одна вещь — как мог он быстрее нас найти тех, кто ему мешал?

В 11 часов 30 минут радость предчувствия близкой победы проникла в коридор и в комнаты инспекторов, а через внутренний телефон — в кабинет патрона, от патрона к главному начальнику, затем к следователю Фрегару. Радость торжествовала без всплесков, без громкого смеха, без грубых шуток, потому что вскоре, за несколько минут до 12, от оптимизма не осталось и следа, одна горечь, о которой каждый предпочел бы забыть. Для логически мыслящего Таркэна, который всегда полагал, что любое дело об убийстве включает убийцу, жертву и свидетелей, вообще не осталось никакой надежды.

В 11 часов 20 минут контролеры с «Марсельца» вспомнили человека, похожего на Роже Трамони. Он стоял в проходе поезда.

В 11.30 кассиры с улицы Круа-де-Пети-Шан признали в человеке, который предъявил выигрышные билеты к оплате, официанта из бара. Значит, это был он. И находился в Париже. Теперь оставалось лишь искать его по отелям, провести обычную проверку личности.

— Он не мог уехать вчера из Парижа до 10 или 11 часов вечера из-за малышки. Но у нас есть Гароди. Она имеет такое же значение, как и остальные. Тот захочет убить и ее тоже. Значит, он еще здесь.

Такое же впечатление было у всех, кроме, быть может, Таркэна, который думал о пистолете, и у Жан-Лупа, занятого лишь своей головоломкой,— он в очередной раз рассеянно допрашивал жену электронщика.

В 11 часов 40 минут позвонили из администрации на бегах. 14 билетов обнаружены в кассах Венсенна после воскресных заездов.

— Этот псих себе на уме,— сказал Таркэн.— Он мог обменять билеты в магазинах, но тогда на него обратили бы внимание. Риск быть схваченным возрос бы в 14 раз. А вот скачки — это прорва. Он жаден и сделал 14 ставок по 500 франков. Во время дневных заездов открыты десятки касс. Так что надо лишь переходить из одной в другую. Да и народу столько, что никто не обратит внимания.

Кстати, кассиры совсем не помнили такого челове-

Рисунок Ильяса АЙДАРОВА

ка. Малле пошелестел списком номеров новых купюр и бросил его в корзину патрона.

В этот момент в кабинет вошел Парди, держа в руках дубленку. Лицо его было мрачным и бесстрастным несколько больше, чем обычно. Было 11 часов 46 минут.

— Я нашел его,— сказал он.

— Трамони?

— Да.

— Где?

— В Сене. Его выловили вчера вечером. Он попал к Буало, как и Кабур. Буало говорит, что сыт по горло и сбит с толку.

Улыбка застыла в уголках губ Грацци. Странное дело, но он физически чувствовал, как эта улыбка начала разлагаться, испаряться, превратившись в глупую, немного слезливую гримасу.

— Ты сдурел или что? — спросил патрон.

— Нисколько,— ответил Тино Росси.— Я сам его видел у патологоанатома на столе. Никаких сомнений. Дырка в голове, как у остальных.

— Когда? — заорал Таркэн.

— Не орите. Мы по уши в дерьме, это ясно. Он умер в субботу в первой половине дня. И пробыл в Сене с вечера субботы у набережной Рапе. Когда он всплыл, его заметила девчонка.

В 11 часов 48 минут, в тот самый момент, когда Таркэн зажег сигарету, усевшись в кресле, как боксер, получивший уже достаточное число ударов, когда Грацци еще верил в ошибку и совпадения, вспоминая шутку Парди, черт-те о чем, вошел Аллуайо в сопровождении Габера.

— Она раскололась. Извините, патрон, я только поднял руку для оплеухи. Клянусь, я не тронул ее.

Таркэн даже не понял, о ком говорят.

— Гароди, понятно? — подсказал Аллуайо.— Ее не было в поезде.

— Что такое?

— Не было. Место она купила, но им не воспользовалась. Уехала, оказывается, дневным поездом накануне. Грязная история. Только посмотреть на нее, и становится все ясно. Ее муж в пятницу ишачил. Вместо того, чтобы сесть в вечерний, она поехала дневным. И встретилась в Париже с одним типом, тоже электронщиком. У меня есть адрес. Она провела с ним ночь в отеле, где тот живет, на улице Гей-Люссак. В субботу утром тот отвез ее на вокзал. Она купила перронный билет и вышла вместе с пассажирами из «Марсельца», свежая, как роза, поцеловав свекровь, которая встречала ее.

Тишина, которая последовала за его рассказом, смутила Аллуайо, и он продолжал уже вялым тоном:

— Она не могла признаться, что ее не было в поезде, понимаете? Говорит, что получилось все очень глупо, что жизнь ее пропала. Говорит, что я не знаю ее свекрови. Плачет...

— Может, ты заткнешься?

Это сказал Грацци, стоявший около патрона с книжечкой в руках, не смея посмотреть в нее, не смея положить в карман, не смея привлечь к себе внимание каким-нибудь жестом,— проклятая книжечка!

Патрон пошевелился, сигарета у него погасла, он положил ладонь на руку Грацци, дружески похлопал, сказал: ладно, он пойдет писать донесение, не стоит переживать, раз промахнулись, ничего не поделаешь. Рано или поздно мы сведем счеты с этим сукиным сыном.

— Остается в ближайшие дни так ходить по коридорам, чтобы на вас не обращали внимания. Дело мы не бросаем. Просто будем незаметны. У нас было дело с убийцей, жертвой и свидетелями. Не осталось ни свидетелей, ни убийцы. А так как убитые не разговаривают, я буду вести себя точно так же,— мальчики, я ухожу.

Надевая пальто, он сказал, что вернется к двум, тогда и соберем останки.

У двери стоял посыльный, стараясь привлечь внимание Грацци. Но тщетно, потому что Грацци смотрел на патрона, а патрон ни на кого не смотрел.

— Господин Грацциано,— сказал полицейский,— в зале ожидания вас спрашивает девушка по имени Бомба́. Она говорит, что желает видеть только вас.

Грацци слышал одного патрона, который говорил, что раз эта бесстыдница не занимала полку, значит, там был кто-то еще.

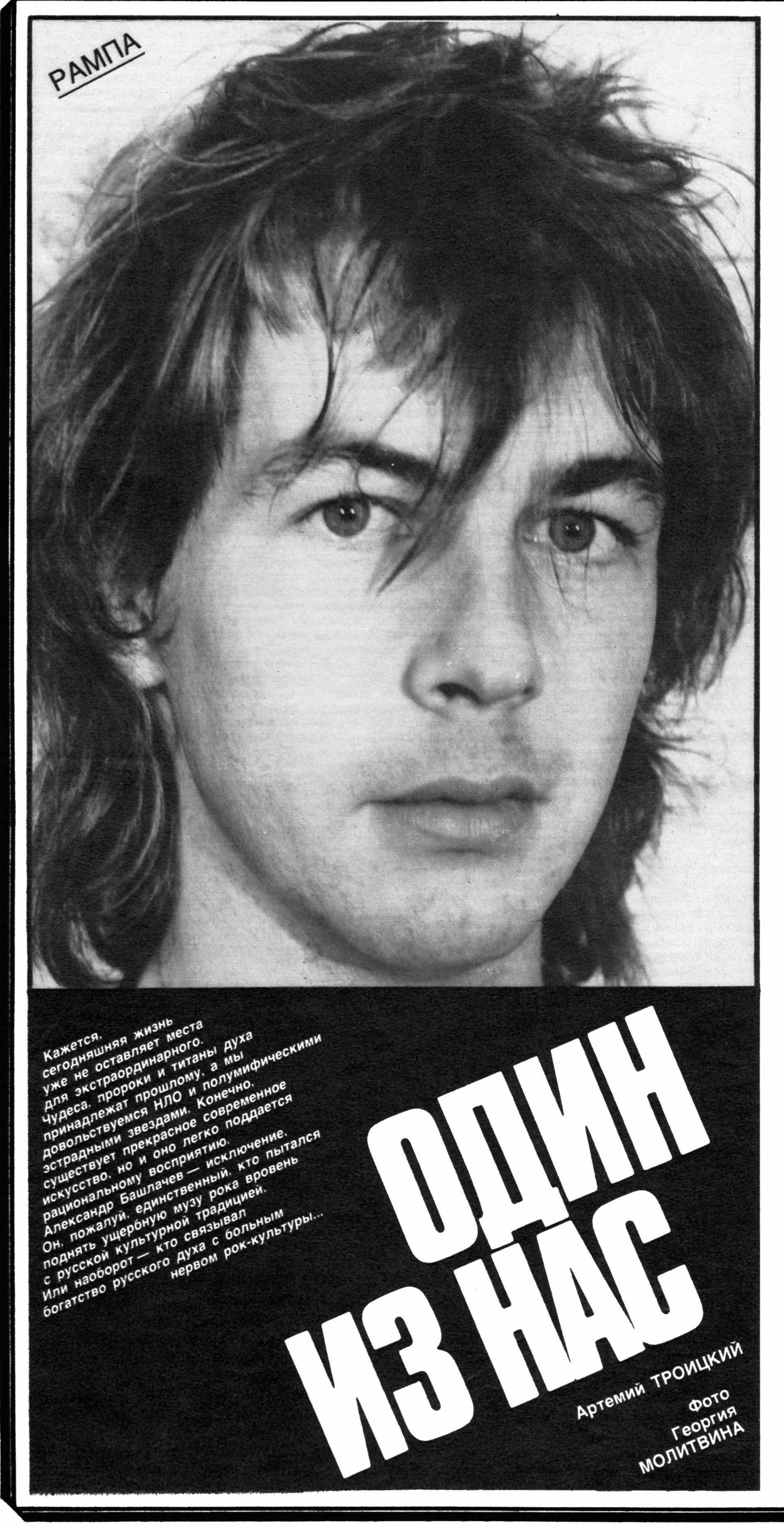
Разве не логично?

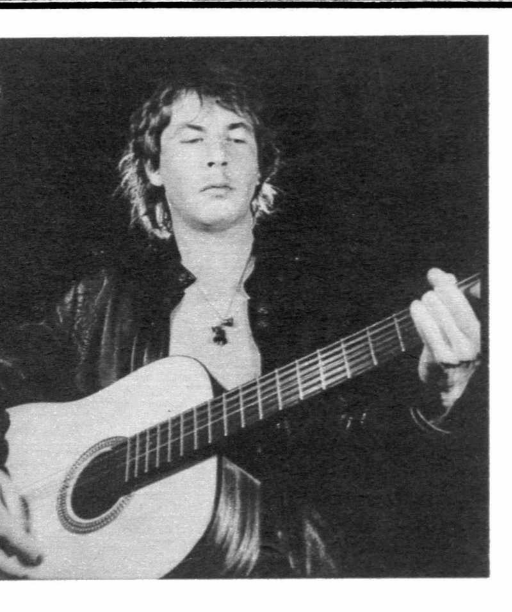
Грацци машинально оттолкнул полицейского, который дотронулся до его рукава, и, миновав Габера, который схватил его за другой рукав (что это с Габером?), запихнул в карман ненужную больше записную книжку.

Он смотрел на лоснящееся лицо патрона, на его живот беременной женщины, на его маленькие бегающие глаза. И думал: почему сегодня он мне не так неприятен, почему я готов поверить, что он мне друг? И сказал полицейскому: ладно, ладно, иду, я иду к ней.

Перевел с французского А. БРАГИНСКИЙ.

Окончание следует.





Сентябрь 1984 года. Разгар очередных гонений на рок. В Череповец меня вытащил Леонид Парфенов — молодая «светлая личность» вологодского областного ТВ. Едва мы провели либеральный диалог, не исключавший права рока на существование (и вскоре заклейменный местным писателем Беловым как очередная «вылазка»), в студию пришел друг Лени, Саша Башлачев. Невысокий, худой, умеренно длинноволосый, с плохими, как у большинства обделенных витаминами северян, зубами и светлыми, восторженными глазами. Одет он был в те же вещи, что я видел на нем и спустя годы: черную кожаную курточку и джинсы. Плюс рубашка-ковбойка. Не могу сказать, что он сразу произвел сильное впечатление: обычный любитель рока. Сразу же стал расспрашивать о Гребенщикове, назвавшись его большим поклонником... Парфенов остался на службе, а мы пошли гулять по мрачноватому, будто расчерченному по линейке, Череповцу. Дома в Череповце скучные, постройки 30—50-х годов, но весело раскрашенные — чтобы не совсем походить на казармы, наверное. В одном из таких домов, ярко-голубом, Башлачев снимал комнату. Мы сидели там, слушали «ДДТ», и он мне немного рассказал о себе. Двадцать четыре года, родом из Череповца, окончил факультет журналистики Уральского университета в Свердловске, работает сейчас корреспондентом районной газеты «Коммунист». Раньше писал тексты для местной группы «Рок-сентябрь»... Увы, знакомая печальная история: вконец истосковавшись в глуши и безвестности, «Рок-сентябрь» послал свои магнитофонные записи на русскую службу «Би-би-си», и диск-жокей Сева дал их в эфир. Радость в Череповце была недолгой: музыкантов вызвали «куда следует» и запретили играть рок. Лидер группы Слава Кобрин уехал в Эстонию, где по сей день играет на гитаре блюз в «Ультима Туле», остальные рассеялись по ресторанам. Эта удачная акция дала право кому-то из Отдела культуры произнести знаменитые слова: «У нас в Череповце с рок-музыкой все в порядке — у нас ее больше нет».

Он продолжал писать стихи, а в мае 84-го, во время II Ленинградского рок-фестиваля, купил гитару и стал учиться на ней играть. Накопилось у него полтора десятка песен. Мы договорились, что он их споет вечером у Лени Парфенова.

Тот вечер... Мы сидели втроем. Башлачев нравился все больше — в нем не было тягостной провинциальности, не надо было с ним сюсюкать, сдерживая внутреннюю зевоту. Гитару он взял, когда было уже поздно. Извинился, что плохо играет. Мне не показалось, что он очень стеснялся, самоуверенным тоже не был. Вообще пел очень естественно, иногда только со спокойным любопытством поглядывал на нас.

Всего он спел пятнадцать песен — и не могу сказать, что все они были шедеврами. В основном это были ироничные или лирические зарисовки «из молодежной жизни», слегка напоминавшие его же тексты для «Рок-сентября». Написанные прекрасным языком и точные по наблюдениям, они могли бы украсить репертуар любого рок-барда. Было там и несколько «повествовательных» баллад, совсем традиционных, но построенных на блестящих метафорах, раскрывавшихся, как в рассказах О'Генри, в последних строчках.

Из этих, «ранних», песен Саши Башлачева мне тогда больше всех понравились три. Непутевый рок-н-илльный гимн «Мертвый сезон» (или «Час прилива»). Затем «Поезд № 193», чаще именуемый в народе «Перекресток железных дорог»,— перехватывающая дыхание, отчаянная песня о любви. «Любовь — это солнце, которое видит закат... Это я, это твой неизвестный солдат». Наконец, «Черные дыры» — самая первая, по словам Башлачева, написанная им песня. И самая простая — но его судьба уже закодирована в ней:

«Хорошие парни, но с ними
не по пути.
Нет смысла идти, если главное —
не упасть.
Я знаю, что я никогда не смогу найти
Все то, что, наверное, можно
легко украсть.
Но я с малых лет не умею стоять
в строю.
Меня слепит солнце, когда я смотрю
на флаг.
И мне надоело протягивать вам свою
Открытую руку, чтоб снова пожать
кулак».

Музыка, к большому удивлению Саши, понравилась тоже, она была и грациозно-мелодичной, и ужасно страстной — короче, не занудные переборы.

В этот же вечер он впервые «на людях» спел «Время колокольчиков» — песню, ставшую потом символом русского рока. Для Саши Башлачева это был прорыв, изумивший его самого. Прорыв из интеллигентного мира «городского фольклора» в буйный, языческий простор русской образности. По этой территории еще не ступала нога ни бардов, ни рокеров.

Он пел в темпе рванувшей удила тройки, и казалось, будто пена летит со сведенных надрывом губ:

«...Век жуем матюги с молитвами.
Век живем — хоть шары нам выколи.
Спим да пьем — сутками и литрами.
Не поем — петь уже отвыкли.
Долго ждем. Все ходили грязные.
Оттого сделались похожими,
А под дождем оказались разные.
Большинство — честные, хорошие.
И пусть разбит батюшка
Царь-колокол,
Мы пришли с черными гитарами.
Ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл
Околдовали нас первыми ударами.
И в груди — искры электричества.
Шапки — в снег, и рваните звонче-ка
Рок-н-ролл — славное язычество.
Я люблю время колокольчиков».

(Стихи приводятся в первоначальной редакции. Позднее автор кое-что в них изменил.— **А. Т.**)

Я сказал, что ему надо поскорее ехать с гитарой в Москву и Ленинград: песни там примут «на ура»... Башлачев слушал это все с детским, обрадованно-недоверчивым выражением лица. Леня Парфенов не без иронии его подбадривал... Спустя пару лет Саша рассказал мне, что возвращался домой той глухой ночью, распевая песни, подпрыгивая и танцуя — как в кино иногда показывают очень счастливых людей.



С тех пор в Череповце я не был ни разу, но часто вспоминал эти места, задаваясь вопросом: этот ли «глубинный», бедный и в то же время немного идиллический русский Север сформировал творчество Башлачева? Думаю, что повлиял, несомненно. Но нельзя сказать, что он «весь оттуда» — как, скажем, «певец края» Николай Рубцов. К творчеству Рубцова и вообще всему «северному» пафосу он относился очень спокойно и никогда, по крайней мере в моем присутствии, не высказывал гордости за свое «глубиночное» — в противовес «гнилым» столицам — происхождение. Более того, мне кажется, что ему было очень скучно, даже тягостно на своей «малой родине». В последние три года жизни ему фактически было негде жить — но лишь в самых отчаянных, тупиковых ситуациях он ехал домой, в Череповец или деревню Улома, да и то не выдерживал там подолгу. Хотя мать и сестру очень любил.

Итак, спустя несколько недель он приехал в Москву, остановился у меня, и каждый вечер мы шли к кому-нибудь в гости, где Саша Башлачев давал концерт. Его самое первое московское выступление состоялось на старой арбатской квартире Сергея Рыженко, бывшего скрипача «Последнего шанса» и «Машины времени», замечательно талантливого парня. Саша привез несколько новых песен: две большущие бытовые баллады, доводившие слушателей до истерического хохота, и четыре серьезные вещи, в разной тональности и с разных точек зрения говорившие об одном и том же:

«Если забредет кто нездешний —
Поразится живности бедной,
Нашей редкой силе сердешной,
Да дури нашей злой — заповедной.
Выкатим кадушку капусты,
Выпечем ватрушку без теста.
Что, снаружи все еще пусто?
А внутри по-прежнему тесно...
Вот и посмеемся простуженно.
А об чем смеяться — не важно.
Если по утрам очень скучно,
То по вечерам очень страшно.
Всемером ютимся на стуле,
Всем миром — на нары-полати.
Спи, дитя мое, люли-люли!
Некому березу заломати».

Были еще «Зимняя сказка», «Прямая дорога» и «Лихо». «Лихо» он пел еще злее и азартнее, чем «Время колокольчиков», а играл так быстро, как только успевал менять положение пальцев, беря аккорды. Эта песня так и осталась самым «яростным» из его сочинений.

«Ставили артелью — замело метелью.
Водки на неделю — да на год
похмелья.
Штопали на теле. К ребрам
пришивали.
Ровно год потели, да ровно
час жевали».

Это лишь один из девяти куплетов. Остальные не хуже. Удивительно, как много он успевал писать. Однажды, в этот первый приезд, я посоветовал ему пойти к Александру Градскому, исполнителю замечательного цикла «Русские песни», и спеть ему «Колокольчики» и «Лихо». На Башлачева встреча, кажется, большого впечатления не произвела. Строго говоря, метр выдворил его восвояси минут через двадцать. Я позвонил Градскому узнать его мнение. Тот начал, естественно, с того, что и играть и петь парень совершенно не умеет... Но стихи хорошие! «Трудолюбивый малый,— сказал Градский.— Я представляю себе, как он подолгу сидит над каждой строчкой. Работа со словом, конечно, ювелирная».— «Насколько я знаю, он пишет все очень быстро...» — «Да ладно тебе! Быть не может. Тогда он просто гений».— И Градский от души расхохотался

в трубку... Хотя был недалек от истины.

Башлачев говорил, что песни буквально «осеняли» его, да так внезапно подчас, что он едва успевал их записывать на бумагу. Более того: смысл некоторых образов, метафор, аллегорий бывал ему самому не сразу понятен — и он продолжал расшифровывать их для себя спустя месяцы после написания.

Московский дебют прошел триумфально. Башлачев поехал в Ленинград, где тоже имел успех. Оттуда в Череповец — но только для того, чтобы уволиться из газеты и попрощаться с родственниками.

Песни Саши Башлачева становились все лучше. В свое второе московское турне — где-то в январе — феврале 85-го — он привез «Мельницу», «Дым коромыслом», «Спроси, звезда» и «Ржавую воду». Спустя еще пару месяцев — «Абсолютный вахтер» и «Все от винта!». «Вахтер» — самая «лобовая», «политическая» песня Башлачева. Когда он ее исполнял, всех просили выключить магнитофоны: боялись стукачей. Эта песня об ужасе тоталитаризма.

Впрочем, не от боязни «засветиться», а по совсем другой причине Башлачев очень редко пел «Абсолютного вахтера». По этой же причине он вскоре почти перестал исполнять сатирические «Подвиг разведчика» и «Слет-симпозиум», несмотря на их популярность. Дело в том, что политика, быт, все «приземленные» материи интересовали его все меньше — и в жизни, и в стихах. «Надоело ерничество... Глупость это все»,— говорил он. Медленно, но верно из его песен «выдавливались» два качества: ирония и бытовая конкретность...

Лето — осень 85-го. Мне кажется, это был пик его вдохновения. Сначала он написал «Посошок» — похоже, самую любимую свою песню, увенчанную печальной формулой, применимой и к нему самому,— «Ведь святых на Руси только знай выноси»... Затем впервые исполнил загадочную былину о Егоре Ермолаевиче, завораживающую, темную, не похожую ни на что. Наконец, «Ванюша», OPUS MAGNUM Башлачева. Это песня, точнее, маленькая былина, не столь эффектная с точки зрения стихосложения, но наделенная исключительной силой. Ее воздействие на слушателей точно определяется словом «катарсис». Он совершенно забывался, как и все мы, кто его слушал, и лишь когда заканчивалась песня, видели, что вся гитара в брызгах крови. Он раздирал пальцы. Это банальная метафора, но он действительно раздирал и всю свою душу. Это могло бы быть страшно — как все, что происходит за гранью человеческого напряжения,— если бы не было так свято и возвышенно. «Ванюша» — это песня о русской душе. К сожалению, когда говоришь, о чем песни Башлачева, часто приходится прибегать к «пафосным», девальвированным едва ли не до уровня кича понятиям, вроде «русская душа», «вера и надежда», «любовь и смерть», «духовная сила»... Конечно, это не Сашина вина. Напротив, он один из немногих, кто взял на себя смелость и сказал в роке истинное слово об этих вечных, но затертых ценностях.

Примерно об этом еще одна его песня, написанная тогда же, «На жизнь поэтов». Песня о нем самом и его судьбе:

«Пусть не ко двору эти ангелы —
чернорабочие.
Прорвется к перу то, что долго
рубить топорам.
Поэты в миру после строк ставят
знак кровоточия.
К ним Бог на порог — но они верно
имут свой срам...»

Башлачев выслушивал десятки, сотни восторженных комплиментов, и не только от полуподпольных богемианцев, но и из уст знаменитых поэтов, влиятельных литературных критиков, секретарей творческих союзов. «Пусть никто не топчет Ваше небо»,— надписал Саше свою книгу «Прорабы духа» Андрей Вознесенский, перефразировав строчку из «Лиха» — «Вытоптали поле, засевая небо»...

Что ж, небо его, пожалуй, никто и не топтал, порхать пташкой божьей не запрещалось. Никто не клеймил его, как «идеологического диверсанта», «хулигана с гитарой», «опасного клерикала» и т. п. Кстати, почти наверняка, выйди он «в свет» на год-полтора раньше — быть бы ему арестованным за «нелегально-концертную» деятельность.

Все «престижные» выступления Саши Башлачева имели своей главной целью помочь ему хоть как-то зацепиться за мало-мальски «официальную» культуру — скажем, напечатать стихотворение в прессе или получить заказ на песни для спектакля. Это означало бы и доступ к более широкой аудитории, и определенную степень защищенности — гражданской и материальной. Не могу сказать, что Башлачев вожделел официального признания, однако и своим «подпольным» уделом он вовсе не кичился. Общественный и художественный статус просто не был для него «кардинальным вопросом», но надежда на какое-то движение, новые возможности была.

Однако сбыться ей не было суждено. Шли концерты — в том числе и в «Литгазете», и в Театре на Таганке,— а Башлачев так и оставался «не ко двору».

...В Сибири ему страшно понравилось: он говорил, что ощутил там невероятный прилив «позитивной» энергии и радости. Той же осенью в Свердловске у него родился сын. Саша сочинил множество песен в эту пору — «В чистом поле», «Тесто», «Верка, Надька и Любка», «Как ветра осенние», «Случай в Сибири» и другие, всего примерно десять. Светлые, исполненные надежды, даже умиротворенные — настолько, насколько Башлачев вообще мог быть умиротворенным. Короче, песни о любви. Он говорил, что самую нежную из них, «Сядем рядом», написал после того, как однажды ночью ему приснилась девушка: «Я знаю, что это была сама любовь»... Тогда же он написал триптих — посвящение Высоцкому — еще одну песню о поэтах, заканчивающуюся словами: «Быть — не быть? В чем вопрос, если быть не могло по-другому».

В январе сын умер. Весной 86-го Саша Башлачев написал последние известные нам песни. Их четыре: «Когда мы вместе», «Имя имен», «Вечный пост», «Пляши в огне». В это время Башлачев увлекся магией русских слов: он искал их корни, созвучия и через них — истинный, потаенный смысл речи. Все его последние песни — удивительная игра слов, но не формальная, а совершенно одухотворенная.

«Имя имен
Да не отмоешься, если вся кровь —
Да как с гуся беда и разбито
корыто.
Вместо икон
Станут страшным судом по себе нас
судить зеркала.

Имя имен
Вырвет с корнем все то,
что до срока зарыто
В сито времен
Бросит боль да былинку, чтоб
истиной к сроку взошла».

Можно сказать, что это религиозные песни, хотя в них нет ни грамма церковного догматизма. «...И куполам не накинуть на Имя Имен золотую горящую шапку». В песнях Саши Башлачева есть настоящая духовная сила. Хотя, я уверен, его и здесь бы сочли еретиком.

«Засучи мне, Господи, рукава!
Подари мне посох на верный путь!
Я пойду смотреть, как твоя вдова
В кулаке скрутила сухую грудь.
. . . .
Завяжи мой влас песней на ветру!
Положи ей властью на имена!
Я пойду смотреть, как твою сестру
Кроют сваты втемную в три бревна.
Как венчают в сраме, приняв
пинком.
Синяком суди да ряди в ремни.
Но сегодня вечером я тайком
Отнесу ей сердце, летящее
с яблони.
Пусть возьмет на зуб,
да не в квас, а в кровь.
Коротки причастия на Руси.
Не суди ты нас! На Руси любовь
Испокон сродни всякой ереси.
Испокон сродни черной ереси».

Одно время казалось, что Саша Башлачев совсем отошел от рока, даже несколько тяготился им, найдя свой новый, «русский» образ. Однако эти две песни построены на великолепном, упругом ритме. Ох, как хотелось их записать как следует! Как, впрочем, и все остальное. То, что Башлачев всегда пел просто под гитару, вовсе не значит, что ничего другого ему не хотелось. Наоборот, он все годы мечтал об ансамбле, где были бы всевозможные инструменты — от сэмплеров до ложек. Придумывал даже название для группы: «Вторая столица», «Застава»... Ничего из этого не вышло. Музыканты ленинградского рок-клуба, да и многие московские, свердловские и новосибирские Башлачева знали, любили, но играть с ним так и не собрались. Помню только замечательную инсценировку «Егоркиной былины», что они разыгрывали втроем со Славой Задерием и Костей Кинчевым. Сашины песни никогда не прозвучали так, как он сам их слышал: с гармонью и военным оркестром, электрогитарой и раскатами грома... Да и обычные, «гитарные» записи — а их к тому времени было сделано в студийных условиях четыре — совсем не так хороши, как хотелось бы.

Потом он уехал путешествовать — сначала домой, потом в Среднюю Азию... Исчез, и очень надолго. Никто из знакомых ничего о нем толком не слышал.

Он позвонил в декабре. Сначала я не понял, что с ним произошло. Он был, как никогда, спокойным, даже чуточку вялым, очень молчаливым. Он говорил, что много пережил за эти месяцы, одумался и очистился. Естественно, мне не хотелось задавать вопрос, которого и он, видимо, с болью ждал: «Что нового написал?»

Ничего. Он сказал, что не может больше писать песен. Что не может даже исполнять старые. «Вот так, не могу, и все»,— отвечал он нехотя, глядя куда-то вниз. В будущем — может быть, но пока... «Я не должен этого делать». Я не стал его расспрашивать — это было бы жестоко и не по-дружески. Скорее всего, дело в том, что последние два года (те самые всего-навсего два года, за которые он написал практически все свои песни!) он жил в таком нечеловеческом напряжении творческих сил, чувств и нервов, что их истощение не могло не наступить. Он отдал слишком много и слишком быстро.

Он не хотел петь свои старые песни, поскольку знал, что не сможет сделать это так, как раньше. Так, как надо. Однако ему пришлось нарушить обет молчания. Чтобы выжить, физически выжить, он должен был что-то делать. А что еще, как не петь? Да и все вокруг ожидали от него песен — так он поддерживал себя в кругу друзей и знакомых. Так он впервые выступил на ленинградском рок-фестивале... Конечно, он чувствовал, что все это уже «не то»: раньше им искренне восторгались, теперь, скорее, подбадривали. И у всех на языке вертелся вопрос: нет ли чего новенького? А ему по-прежнему не писалось, хотя он и уверял, что в голове «что-то крутится»...

Две песни написаны в последний год — «Архипелаг гуляк», от которой не осталось ни записи, ни даже слов, и «Когда мы вдвоем».

«Я проклят собой.
Осиновым колом — в живое.
Живое восстало в груди —
Все в царапинах да в бубенцах.
Имеющий душу — да дышит.
Гори — не губи...
Сожженной губой я шепчу,
Что, мол, я сгоряча, я в сердцах —
А в сердцах-то я весь!
И каждое бьется об лед, но поет.
Так любое бери и люби.
Не держись моя жизнь —
Смертью вряд ли измерить.
И я пропаду ни за грош.
Потому что и мне ближе к телу
сума.
Так проще знать честь.
И мне пора —
Мне пора уходить следом песни,
которой ты веришь.
Увидимся утром.
Тогда ты поймешь все сама».

17 февраля 1988 года, в середине дня, он выбросился из окна ленинградской квартиры на проспекте Кузнецова. Потом в зале рок-клуба был большой концерт его памяти и поминки в красном уголке. Приехали музыканты из разных городов, мать, отец и сестра из Череповца. Похоронили Сашу Башлачева на огромном Ковалевском кладбище, к северу от города. При том, что народу повсюду было очень много, тишина стояла полная. Не было ни речей, ни причитаний о «молодости» и «безвременности», ни даже плача в голос. Вплоть до самого опускания гроба. Это молчание говорило о многом. В первую очередь о тяжелейшем чувстве вины. Наверное, каждый здесь мог бы чем-то помочь Саше Башлачеву, пока было не поздно, но не сделал этого.

Но было и другое общее чувство, что усиливало сцену молчания: чувство неотвратимости этой трагедии. Оно не то, чтобы успокаивало, скорее, переводило трагедию смерти Саши Башлачева из чисто «жизненной» в иную, более философскую плоскость. «Не верьте концу. Но не ждите иного расклада»,— пел он в песне о Поэтах, о себе подобных. Он был таким, какие, как правило, долго не живут, сознательно жил так, что было трудно выжить. И смерть свою предсказал во многих песнях. Печально то, что все осознали это абсолютно отчетливо лишь задним числом. А до того жизнь его, особенно последние полтора года, была тихим адом.

Печально и то, что лишь задним числом и с изрядной долей лицемерия вспомнили о Башлачеве наши «официальные» культурные инстанции. После смерти были напечатаны его стихи, выходит пластинка. При жизни не было поддержки никогда и ни в чем. Поминая нелегкую жизнь Владимира Высоцкого, во всем виним эпоху застоя и ее трусливых функционеров. А у Башлачева, человека не меньшего таланта, судьба сложилась еще тяжелее, и погиб он на третьем году «эры гласности».

Да, он был человеком, склонным к эмоциональному и психическому «самосожжению», но разве благородно делать скидки на «злой рок», довлеющий над гениями? Разве может считаться истинно гуманной система, не поддерживающая своих безоглядных, «проклятых собою» Поэтов, не дающая им шанса выжить? Саша Башлачев ушел, не оставив ни малейшего следа в величественных коридорах Большой Советской культуры. Что отчасти справедливо: это был не его уровень.

...Зимней ночью мы шли к платформе Переделкино, в надежде на последнюю электричку, и Саша рассказывал мне о переселении душ. Он сказал, что точно знает, кем был в прошлой жизни, и что это было очень страшно. «Давно?— полюбопытствовал я,— в средневековье?» — «Нет,— ответил он,— недавно».— «Интересно,— я стал рассуждать о делах, в которые, строго говоря, не очень-то верил,— почему, по какой команде душа вселяется в очередное тело?» — «Я знаю, как это происходит,— сказал Башлачев,— душа начинает заново маяться на земле, как только о ее предыдущей жизни все забыли. Души держит на небесах энергия памяти».



Олег ХЛЕБНИКОВ

ДОРОГИ РОССИИ

* * *

Не пройти через эти туманы,
не проехать сквозь эти леса —
все-то чудятся страхи-обманы,
все-то слышатся плач-голоса.

Все густеют туманы, густеют.
Ни лесов уже нет, ни полей.
Все-то мягкое, мягкое стелют —
жестко спать. И шагать тяжелей.

* * *

Коротковатые ноги,
широковатые лица...—
тех, кто подобие Бога
и все же к Нему стремится,

тех, кто с каждым мгновеньем,
с каждым рождением сына
ближе к Нему.—
...теченья
вен, виноватые спины,

детской души проступанье
и узловатые руки...
Все это —
не основанье
счастья не знать и муки.

ОБЛОМОВ

Необъятные просторы —
не дойти до них рукам,
не дойти ногами — только
разве снами долететь?
Все леса да косогоры...—
это ли смогу, отдам
иноземцу,
немцу,
Штольцу?..
Лучше вовсе не глядеть.

* * *

И все-таки за что тебе такое?
Одной тебе ни воли, ни покоя,
которые пока на свете есть.
В твоем дому ни кочерги, ни свечки,
и съедены давно твои овечки,
а волки, что ни день, желают есть.

И что ни ночь — тевтонцы да монголы,
и не растет трава на правде голой,
листва на вещих кольях не растет.
А если любит и за это мучит,
так отчего же сам другому учит
и весточки не шлет который год?

Фото
Владимира
ФИЛОНОВА

Юрий БОЛДЫРЕВ

БОРИС СЛУЦКИЙ

1

Этого разговора не избежать. Поэтому лучше начать с него, с пятнадцатистрочного выступления Бориса Слуцкого на собрании московских писателей 31 октября 1958 года, посвященном Борису Пастернаку, его роману «Доктор Живаго» и Нобелевской премии, присужденной ему за этот роман. С выступления, самого короткого на том судилище, но такого долгого по резонансу во внутренней и внешней жизни Слуцкого.

Сам он не извинял себя никогда и ничем — ни необходимостью подчиниться партийной дисциплине (а он в то время был секретарем партбюро поэтической секции, и партийная дисциплина была много суровее, чем сейчас), ни своими личными обстоятельствами (он только-только начал выкарабкиваться из безденежья, бездомности, непечатаемости — и так легко было снова ввергнуть его в это состояние), ни даже содержанием и формой своего выступления, резко отличающимися от почти всех остальных. Не извинял ни перед другими, ни перед самим собой, что, может быть, еще важнее для дальнейшей жизни человека. Слуцкий твердо знал: он совершил очень дурной поступок. И нескольким близким знакомым, которые согласились тогда его выслушать, он сказал, что больше ничего подобного с ним не произойдет.

Это слово он сдержал. И держал его тем крепче, чем крепче помнил про те две-три минуты на сцене Дома литераторов. Они не выветривались из его памяти, вновь и вновь возникали то впрямую, то вскользь в строчках его стихотворений «Случай», «Азбука и логика», «Уменья нет сослаться на болезнь...» и многих других. Верно служа истине и добру, преданно служа родной поэзии, честно раздумывая в стихах над сложной и драматичной жизнью своей страны, он старался не терять надежду на то, что этот его труд когда-нибудь зачтется народом — грех простится, и будет снято наказание. «Грехи прощают за стихи. Грехи большие — за стихи большие. Прощают даже смертные грехи, когда стихи пишу от всей души я. А ежели при жизни не простят, потом забвение с меня скостят» («Прощение»).

Как я уже сказал, Слуцкий не преуменьшал своей вины. Все же он и не преувеличивал ее, хотя болел ею все оставшиеся ему годы. В том, что он сказал тогда с трибуны, не было ни клеветы, ни лжи, не было двоедушия, двуличия. Позднее он мог думать и думал иначе о людях, поставленных перед необходимостью печатать свои произведения за границей (сам, впрочем, никогда такой возможностью не соблазнился), в тот момент думал именно так, как сказал. Видимо, эта внутренняя честность перед самим собой и немеркнущее сознание вины и помогли ему удержаться, не покатиться по наклонной плоскости, после «А» не сказать «Б», делать свое, а не чужое дело.



Тем более что Слуцкий мог с полным правом полагать: наказание за ту вину уже состоялось, он испил его полной чашей.

2

Внешне все выглядело благополучно: альманахи, газеты, тонкие и толстые журналы регулярно публиковали его стихотворения, раз в три-четыре года выходили книги (в основном в «Советском писателе»; «Молодая гвардия», в 1959—1969 годах выпустившая три его книги, после того, как он, будучи заместителем председателя приемной комиссии, резко выступил против приема в Союз писателей ее директора В. Ганичева, стала для него закрыта; «Современник» лишь однажды издал его книгу); критические схватки, вызванные его первыми, самыми звонкими книгами «Память» и «Время», сменились тихоструйными ручейками благожелательных рецензий. К 50-летию вышло первое — пусть маленькое, даже крохотное — «Избранное», к следующему юбилею было обещано второе — покрупнее.

Внутренне же все обстояло и ощущалось совсем иначе. Начиная с третьей книги — «Сегодня и вчера» — ослабевала связь с читателем. Тугая, натянутая, звучащая, как струна, еще недавно, когда читались и перечитывались его «Кельнская яма», «Лошади в океане», «Госпиталь», «Давайте после драки...», когда ходили по рукам перепечатанные, переписанные «Бог», «Хозяин», «Ключ», «Современные размышления», «Я судил людей...», эта связь на глазах опадала, рушилась, исчезала. Ее место занимало какое-то равнодушное уважение.

Стихи в журналах как бы и не читались. Книги издавались, раскупались — нет, надоедливыми, приевшимися стопками на прилавках они никогда не лежали — и... ставились на полку, тоже вроде бы не прочитанные. Этой моей гипотезе есть любопытное подтверждение: в 1962 году в «Литературке» и еще через два года в книге «Работа» (о которой Ахматова говорила, что она встречает ее в каждой квартире, куда попадает) знаменитый «Бог» был все же напечатан; до сих пор иные читатели, у которых «Работа» стоит на книжных полках, спрашивают меня, когда же это стихотворение будет опубликовано.

Слуцкий тяжело переживал это положение, в котором он оказался с начала 60-х годов и выхода из которого так и не дождался. Листая его рабочие тетради, в стихах, набросках, мемуарных попытках то и дело натыкаешься на эту боль: он то пытается объяснить себе, что произошло («Любители моих стихов ушли из возраста любителя, в свои семейные обители. Теперь им не до пустяков»), то с горечью вспоминает о еще недавней славе («В записях тех лет подневных, в дневниках позапрошлых эпох есть немало добрых и гневных слов о том, как хорош я и плох. Люди возраста определенного, ныне зрелого, прежде зеленого, могут до конца своих дней вдруг обмолвиться строчкой моей»), то гневно вздергивает самого себя: «Жалкой жажды славы — не выкажу — ни в победу, ни в беду. Я свои луга еще выкошу. Я свои алмазы — найду... Словно сельский учитель пения, сорок лет голоса ищу. И поганую доблесть терпения, как лимон — в горшке ращу».

Будь он чистым лириком, наверное, такое положение переживалось бы им не так остро. Но он был поэтом-публицистом, гражданским поэтом — а его не слышали. И где? И когда? В стране и в веке, в которых не было вопросов более жгучих, больных, требующих разрешения, чем вопросы политические. Не решенные ни в прошлом столетии, ни в нынешнем, до невыносимости заостренные этой своей уже трагической нерешенностью («Вопросы, словно в прошлом веке, вопросы — точно те же. Кто виноват, как быть, что делать — звучит сейчас не реже, чем в девятнадцатом столетьи, полузабытом, давнем, засыпанном пургой событий, как Дальний Север, дальнем»), они мучили Слуцкого, как и всякого думающего сына нашей страны, он думал и писал о них постоянно. И не слышал отклика. Ему нужны были спор, драка, а не теплота рецензий.

Был, конечно же, читатель у Слуцкого. Не каждый ведь из 10—25 тысяч покупателей его книг (больших тиражей у них не бывало) удовлетворялся только актом покупки. Но что он вычитывал из них, на что и как реагировал, даже как оценивал — в эту эпоху большого молчания Слуцкому знать было не дано. Ближе к концу творческого пути, наступившему на девять лет раньше конца пути жизненного, он писал об этом в стихотворении «Ошибочное поведение моих поклонников»:

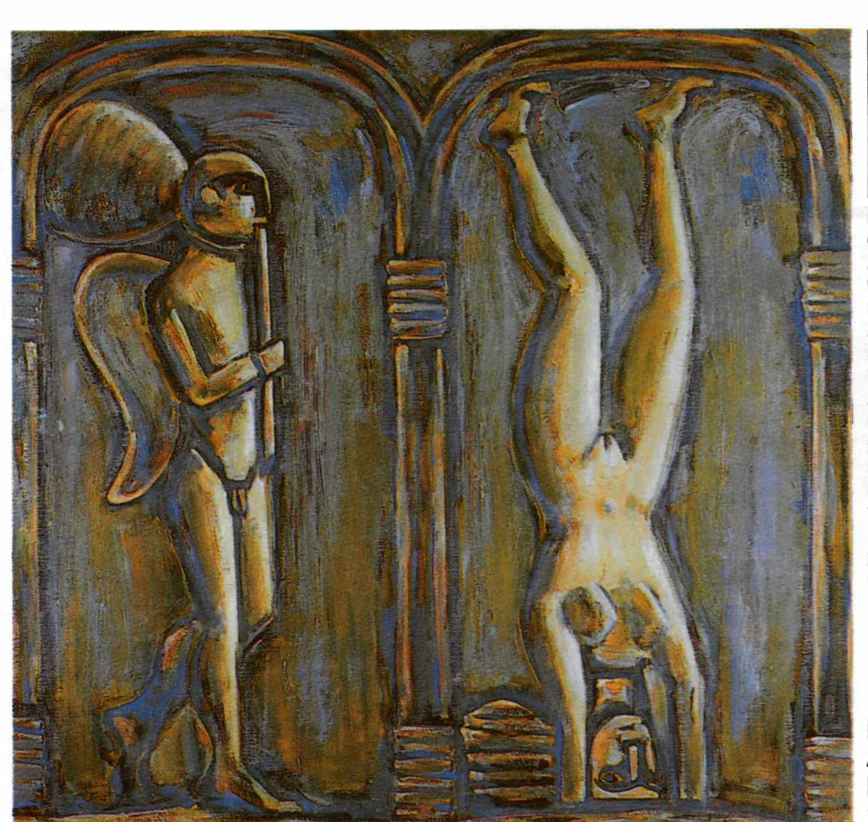
Те, чьих дум я властителем был,
проявляли немалый свой пыл

БЕЛЫЙ АУЛ,
НОСТАЛЬГИЯ.
1988.

ПАЛИТРА

Шариф
ШУКУРОВ

РИТМЫ МИРОЗДАНИЯ



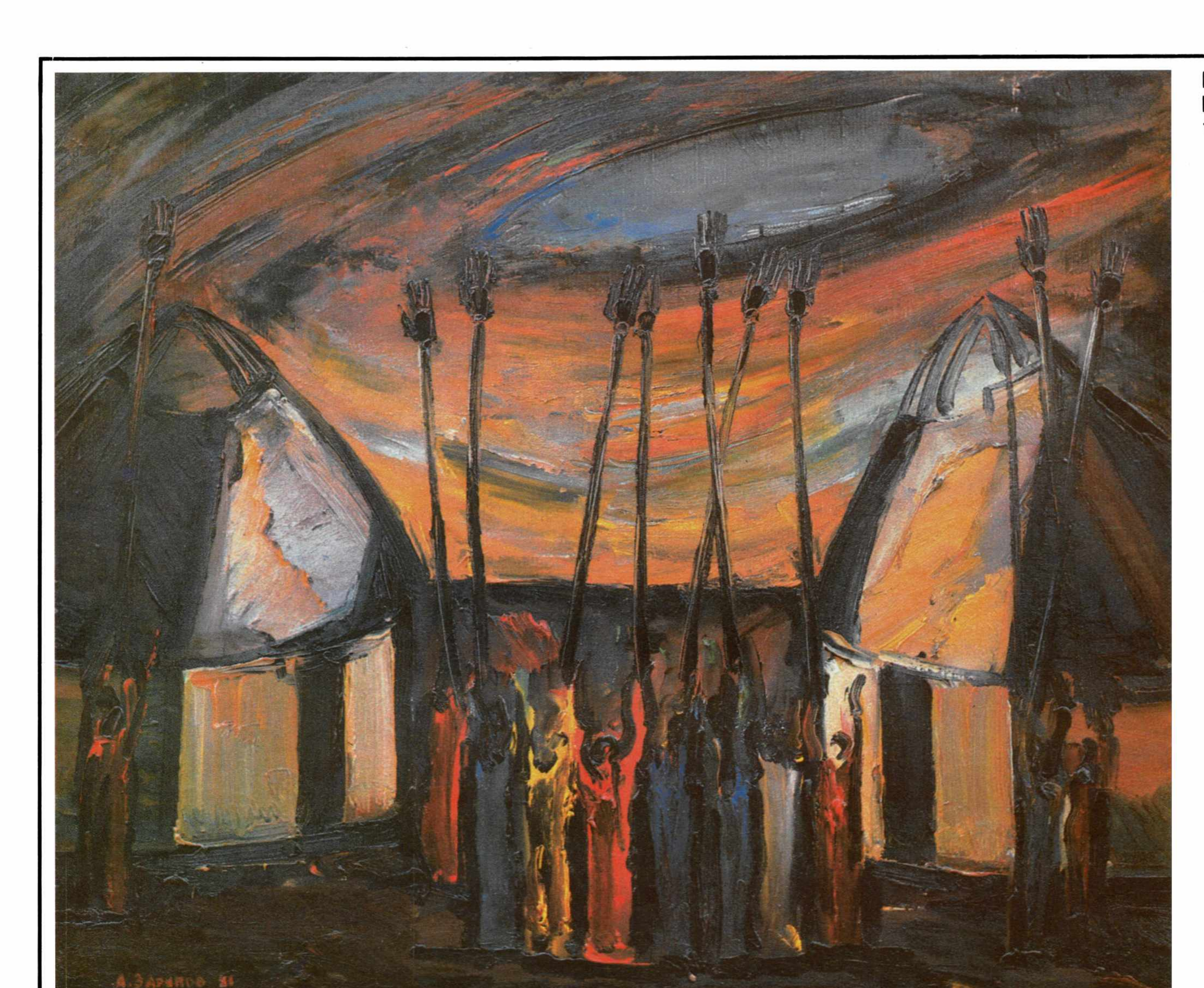
ПАРФЯНСКИЙ
АНГЕЛ
И АКРОБАТКА.
1987.

Аннамухамед Зарипов окончил художественное отделение ВГИКа. Родом он из Туркмении, где старое все еще ухитряется сосуществовать с новым, напоминая нам о себе, скажем, цветовыми пятнами знаменитых туркменских ковров, мастерски уложенных в гармонию общего колорита. Надо сказать, что внешнее впечатление о Средней Азии как о земле многоцветной и яркой, обманчиво. Земля эта много более уравновешена и собрана в цветовом плане, чем это может показаться случайным посетителям ее пестрых, шумных базаров. Об истинном облике Средней Азии лучше расскажут ритмы народных песен, кропотливая работа исчезающих мастеров-гончаров и в том числе, на мой взгляд, творческий опыт А. Зарипова.

Живопись Зарипова целиком погружена в национальную, туркменскую традицию. Не следует, однако, забы-



А. З. ЗАРИПОВ.
Род. 1947.
АВТОПОРТРЕТ
В ЖЕЛТОМ.
1984.



ПРАЗДНИК
В АУЛЕ.
1980.

СБИВАНИЕ
МАСЛА.
1988.



вать, что истинное следование традиции есть прежде всего результат *внутреннего* опыта художника, способность пропеть ту «песню», что была сложена до него и не им. Такова живопись Зарипова. Его композиции основаны на туркменском фольклоре, свадебных и прочих обычаях... Художник, однако, воспроизводит не просто образ внешнего бытия — он воссоздает живописными средствами саму его эстетику.

По словам художника, основой его творческого метода неизменно служит припоминание того, что он видел и слышал в детстве. Но припоминание не механическое, а созидательное, направленное в сегодняшнюю жизнь и в будущее. Сохранение родной культуры не может быть измерено только ориентирами прошлого. Боль сегодняшнего времени, повсеместное угасание традиции заставляют внимательно вглядываться в прошлое и находить те ритмы и те краски, которые могли бы помочь «поэту» спеть сложенную до него песню.

Зарипов часто обращается к мотиву похорон, соединяя землю и небо, прошлое и будущее, внуков и правнуков лестницами — в будущую жизнь. Осмысленный художником как метафора, этот мотив становится убедительным художественным символом животворности традиции, ее уходящих в будущее ценностей.

где угодно и как угодно
было злобе текущего дня,
но хвалили меня неохотно —
так, сквозь зубы хвалили меня.

Их бестрепетному горенью
все казалось, что мне ни к чему,
что характеру моему
можно выдержать без поощренья.

Постарели мои читатели,
устарели мои дела.
Поздно думать, кстати, некстати ли
их стыдливая скромность была.

Чтобы все, что во мне и со мной
воспарило и заблистало,
может быть, открытки одной,
одного письма не хватало.

И я вот все думаю, достаточно этого наказания для того преступления или недостаточно? Может быть, прочитав то, что опубликовано из его наследия за три последних года и представив себе его подвижнический труд, мы, и сами далеко не безгрешно прожившие жизнь в нашей шестой части земного шара, отпустим грех этому человеку? Впрочем, если кто считает, что сохранил свои ризы в первозданной белизне, не замарал их ни единым пятнышком, у того есть право никому ничего не прощать и считать, что этот грех неотмолим.

3

Кроме, так сказать, мистических причин, у читательского охлаждения к поэту были и причины реальные.

Во-первых, в какой-то степени оно было если не спровоцировано, то вызвано творческим поведением самого Слуцкого. После бурной удачи своих первых книг с правдивыми, жесткими, реалистичными стихами о войне он мог на какое-то время или навсегда остановиться, собирать дивиденды с этой славы, писать и публиковать вторые, третьи, четвертые копии признанных произведений. По сию пору многие редакторы норовят приурочить его публикацию к 9 мая, к 23 февраля, видя в нем «военного» поэта и не более.

Но тут вспоминается из его стихов о солдате: «Он мог... Да мог ли? Будто? Неужели? Нет, он не мог». Сказав свое слово о войне, он и не думал останавливаться на достигнутой вершине, вновь и вновь перепевать себя самого (хотя о войне писал и потом, постоянно, до самого конца — ведь она была и школой жизни для его и следующего за ним поколения: Межиров, Окуджава, Ваншенкин,— и трагедией народа, которая вовсе не окончилась победой, и такой житницей опыта, которую было не исчерпать), он считал себя обязанным сказать и о мире, том послевоенном и послесталинском мире, где жили и действовали его современники.

Такой поворот не мог удаться вдруг, сразу. Слуцкий это понимал, скоропалительных удач не ожидал, иллюзий у него не было. Творческое мужество Слуцкого и состояло в том, что он пошел на «запланированную неудачу» (это его слова, он сам так назвал свою позицию в ту пору). Запланированное и произошло. Нервную систему жизни, творящейся вокруг него, обнаружить и понять было нелегко, непросто. Его стихи конца пятидесятых — начала шестидесятых годов, хорошо сделанные, мастерские, часто бывали холодноватыми слепками с действительности.

И пока он искал узловые моменты, драматические сплетения жизни, шумели иные поэты, набирала силу поэтическая волна, связанная с именами Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, а потом и Кушнера, Рубцова. Его предупреждали, что его обгоняют и обгонят. Он ответил на эти предупреждения стихотворением «Меня не обгонят — я не гонюсь...» и продолжал гнуть свое, искать и находить только свое. Удивительно, что при этом он не терял своей благожелательности и помогал, чем мог, всем, в ком видел талант. Помогал Станиславу Куняеву, Леониду Агееву (их первые книги он редактировал и пробивал), Игорю Шкляревскому, Татьяне Глушковой, Владимиру Леоновичу, Олегу Хлебникову — всех не перечислишь, полагаю, иные из них когда-нибудь расскажут об этом. Помогал деньгами, журнальными и внутренними рецензиями, советом, рекомендациями в Союз писателей, добрым и умным словом, сказанным вовремя. Руслан Киреев рассказывал мне, как при встрече со студентами Литинститута Слуцкий безошибочно и резко заметил, выделил талант Николая Рубцова.

Так вот, в это время читатель ушел от него.

Во-вторых, в это время начинается, вернее, усиливается цензурный и редакторский зажим. Если из стихов его первой поры далеко не все было напечатано, то уж теперь-то самым его резким, самым болевым, самым важным стихам было невероятно трудно пробиться в печать.

А в-третьих, обычная судьба большого поэта, описанная Пушкиным на примере Баратынского и явленная затем на примере того же Пушкина, его поздней поры, и многих других: «...поэт мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются. Песни его уже не те. А читатели те же и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни. Поэт отделяется от их и мало-помалу уединяется совершенно. Он творит — для самого себя<...> и находит отголосок своим звукам только в сердцах некоторых поклонников поэзии, как он, уединенных, затерянных в свете».

Впрочем, есть и четвертое, но оно уже относится не только к Слуцкому, а ко всей советской литературе. В прошлые века государство могло преследовать писателя всеми мерами вплоть до каторги и ссылки, могло запрещать и уничтожать его книги, но оно никогда не вмешивалось ни в эстетические оценки, ни в тиражную политику. Сильные мира сего могли предпочитать Булгарина и Маркевича Пушкину и Достоевскому, но они не мешали критику, будь то Белинский, будь то скромный рецензент губернской газеты, публиковать свое мнение о том и другом писателе, не навязывали всем своих вкусов и предпочтений. В нашем веке государство всей мощью пропагандистской и издательской машины могло вознести и возносило лакействующую бездарь на вершины литературного Олимпа и погружало честный талант в бездны замалчивания, в лучшем случае позволяя ему существовать и тихохонько издаваться крохотными тиражами. Еле-еле, едва-едва мы начинаем выбираться из той спутанности и заниженности эстетических критериев.

4

Самое обидное и несправедливое (вовсе не только по отношению к Слуцкому, а может быть, прежде всего по отношению к его тогдашним потенциальным, но несостоявшимся читателям, думавшим о том же и страдавшим тем же, что и он) в этой ситуации было то, что именно в это время Слуцкий прорвался к своей теме, нашел «свои алмазы» и стал выкашивать «свои луга». Да, многое, очень многое до печатного станка не доходило, но и в том, что появлялось на страницах журналов и книг, можно было вычитать, разглядеть напряженнейшие раздумья о мире и человеке, о жизни и смерти, о прошлом и о сегодняшнем, о поведении и поступке, о счастье и горе.

Смолоду у Слуцкого было две любви, он растил в своей душе два равноправных древа: поэзия и история. И когда эти два древа соприкасались листьями и ветвями, его осеняла удача. Так было, когда он писал о войне, о ее грозной и вольной поре. Так было, когда умер Сталин и прошел Двадцатый съезд. И вот теперь он снова почувствовал, ощутил шаги истории, проник в ее ходы, увидел ее замыслы.

Радости эти открытия ему не доставили. Тем не менее это были открытия. В конце 1964 года, через несколько месяцев после недоброво́льного ухода Хрущева и водружения Брежнева на советский престол, он написал в стихотворении «Сласть власти не имеет власти...»:

Устал тот ветер, что листал
страницы мировой истории.
Какой-то перерыв настал,
словно антракт в консерватории.

Это открытие было тем ошеломительнее, что еще недавно Слуцкий при всем его уме и сообразительности поддался общей иллюзии, что после снятия Хрущева в стране возобновится и продолжится движение живых соков, то, которое и началось-то благодаря Хрущеву и Хрущевым же было заторможено, остановлено. На этой иллюзии он тут же поставил крест.

Будущая жизнь — и общая, и личная — была ясна, ясна беспощадно и сокрушительно. Все и всяческие надежды свеяло, как полову.

Родившийся в 1919 году, Слуцкий рос и вырос на земле революции, был вскормлен ее идеалами, ее верой, надеждой и любовью. Уверенность в том, что именно в его стране и при его участии осуществятся самые смелые, самые отчаянные мечты Мора, Кампанеллы, Уинстэнли, Кабе, Сен-Симона и других великих мечтателей, то, что церковники называли царством божиим на земле, казалось, родилась раньше него. И если даже у взрослых и опытных людей никакие беды и неудобства, ошибки и несообразности, даже кровавый перелом коллективизации не колебали этой уверенности в непременно светлом будущем, то что спросить с мальчишки, с подростка, зачитывавшегося книгами о французской и русской революциях и газетными статьями об успехах социалистического строительства, верящего, что каждая завершенная стройка: Днепрогэс, Магнитка, Беломорканал, Харьковский тракторный завод, каждая добытая тонна угля и выплавленная тонна чугуна приближают страну, народ, лично его к этому грядущему золотому времени. С этой верой он учился в московских Юридическом и Литературном институтах, сражался четыре года на войне, в послевоенные годы бедовал без квартиры и без прочного заработка.

Эта вера подтачивалась, конечно. Теми же газетами, кликушествующими о врагах народа в 1937—1939 годах, откровенными и сумбурными разговорами в кружке молодых поэтов — литинститутцев, ифлийцев, университетцев,— страшным отступлением 41-го года, послевоенными погромами интеллигенции, надвигающимся на страну и прямо на него выселением евреев, страшной картиной, представшей в знаменитом хрущевском докладе, рассказами тех, кто возвращался с островов ГУЛАГа, и многим, многим другим. Однако подтачивалась, рвалась в иных местах, порой тяжело ранилась, но не рушилась. Рухнула она в середине 60-х годов. Именно рухнула. Другого слова не подберешь. И он совсем не легко, но мучаясь и страдая, отодвинул ее обломки в сторону.

Я был в игре. Теперь я вне игры.
Теперь я ваши разгадал кроссворды.
Я требую раскола и развода
и права удирать в тартарары.

Впрочем, нет, и обломки отбросить не удалось, и не пришлось «удрать в тартарары». Трещина, расколовшая наш мир тогда (это осозналось не вдруг, это и сейчас с трудом осознается умом и не хочет восприниматься чувством), в самом деле прошла через сердце поэта. С этой трещиной надо было жить. Он снова и снова возвращался к себе прежнему, к тогдашней вере, вновь и вновь писал об этом.

Вот она, отныне святая
пустота,
как прежде — пустая,
полая, как гнилой орех,
но святая — почти для всех.

5

Впрочем, стихи о пустоте — это крайняя точка того душевного состояния, того смятения, в котором он теперь постоянно жил и которое сам называл: «в ритме качелей». В нижней точке этого размаха писалось: «Крепостное право, то что крепче и правее всех его отмен...», в верхней — несколько иное: «Доделывать ли дела? С одной стороны, конечно, как быть без цели конечной — уничтожения зла. Зато, с другой стороны, при всех душевных высотах, усилия наши равны нолю или ноль ноль сотых... У всякой одной стороны есть и сторона другая, и все мы должны, должны, и я как могу помогаю» («Вопросы к себе»).

Что опускало Слуцкого в нижнюю точку — ясно. Что поднимало его наверх, к жизни, к какой-никакой надежде? Если не говорить о личных обстоятельствах (тяжело, страшно заболела жена — и Слуцкий что было сил выцарапывал ее из лап смерти: его старания наверняка прибавили ей несколько лет жизни; он не видел за собой права сдаться, уйти, оставить ее одну, хотя стихи о самоубийстве, о самоубийцах с этих пор появляются в его тетрадях), то, думаю, это была родная литература, ее заветы, русское слово («Гибели наперерез, отчаянно навстречу выходит острый интерес к развитью русской речи...»). Слово тянуло за собой другое, прялась нить, возникала мысль, рождалась строка. Изменила история, поэзия осталась верной спутницей. Вспоминая об уже давних двух годах непрестанной, кошмарной головной боли (последствие контузии), не дающей не только писать — читать, о больницах, об операциях, Слуцкий писал: «Выручила, как выручит, надеюсь, и сейчас — лирическая дерзость».

Здесь все точно. Именно дерзость и именно лирическая спасла Слуцкого. Он сменил манеру письма, стал не делать стихи, как прежде, а выговариваться («Те стихи, что вынашивались, словно дитя, ныне словно выстреливаются, вихрем проносятся и уносятся вдаль...»). Это всегда не просто — выразить в слове самого себя, а не так называемого лирического героя, в котором всегда есть что-то вымышленное. Ложное не просто заслонило истинное, оно срослось с ним, соединилось нервами и кровяными капиллярами. Эта долгая, растянувшаяся на многие годы операция самоочищения была пострашнее и мучительнее тех трепанаций черепа, которые ему делали после войны.

Лирика, которую он писал теперь, была странной лирикой. Да, он много писал о себе, о своей работе: иногда объективно, как бы отстраняясь, иногда с жалостью (приближалась старость, одолевали, опутывали болезни), но как часто писал жестко, с иронией, с осуждением, даже с гневом. Но в этих же или одновременно написанных стихах наравне с авторским возникали образы сотен его современников.

Тот случай с Пастернаком, с лихвой доказавший ему на собственном примере, что в этой стране, в этом обществе никто не может избегнуть унижений, обид и бесчестия, всякого могут втоптать в грязь, проволочить лицом по дерьму, навсегда избавил его от «колючей проволоки высокомерия» — когда-то ее в нем было с избытком. Теперь он глядел на людей не снисходительно, нет — с пониманием и милосердием. Не осталось и ни капли снобизма — сословного, интеллектуального, либерального. На равных правах в его стихах расположились старенькая уборщица, советский сановник, шофер такси, офицеры царской и белой армий, комиссар Гамарник, работник НКВД, «молодой поэт, непечатный», инвалид войны, солдатские вдовы (сколько их осталось за-

печатленными в стихах Слуцкого), дети «врагов народа», «ребенок для очередей», немка, спасшаяся от выселения из Москвы, соседи по больничной палате, городская одинокая старуха и так далее и так далее. Сильные в слабости и слабые в силе, каждый со своей горестью и гордостью, величием и бесславием, счастьем и стойкостью, обидой и заботой.

Вместе с ними в стихи входили времена, эпохи, периоды, десятилетия и годы советской истории. И лирика незаметно для самого поэта, нечаянно, исподволь становилась эпосом, лирический дневник превращался в историческую хронику, на страницах которой действовали, бушевали, сталкивались, возникали и исчезали люди, идеи, настроения, факты и фантомы 1920—1970-х годов двадцатого века.

Эта хроника не была бесстрастной — до равнодушного всепрощения Слуцкий не опускался. В ней были и суровые приговоры как людям, так и событиям. Наверное, самым суровым был вердикт брежневской эпохе и ее деятелям, наглому, безыдейному стяжательству, воинствующему бескультурью, горестному распаду общественных и людских связей, хамской, едва ли не разбойничьей бесчеловечности. На благотворные перемены поэт уже надеялся все реже, боялся надеяться. Он умер, едва они забрезжили, уже не поверив этому предутреннему свету. Когда в феврале 1977 года умерла жена, словно оборвалась последняя нить, соединявшая его с миром, слишком новым, слишком чуждым ему. В два с половиной месяца он в нескольких толстых тетрадях выговорил все, что осталось сказать людям, и ушел в болезнь, в молчание, в тьму — на девять страшно долгих лет. В третий раз лирическая дерзость уже не помогла.

Но эпос свой Слуцкий сложил и оставил нам. Свой подвиг — творческий и человеческий — он исполнил.

6

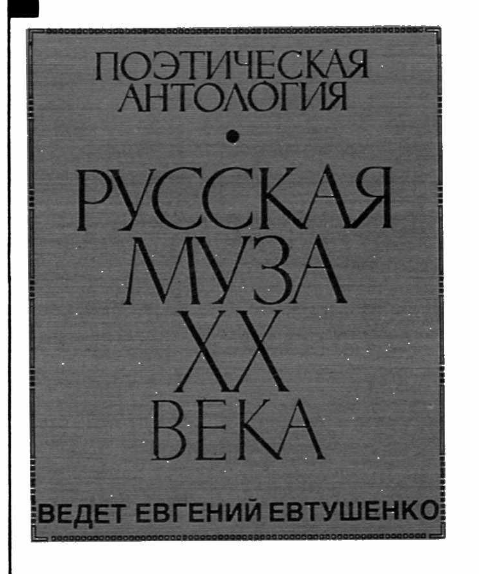
Но вот когда пройдут, затянутся исторической патиной, а потом совсем забудутся факты и события, люди и характеры, отразившиеся в поэзии Слуцкого, что она будет значить?

Мы еще не знаем всей меры нашей нужды в нем.

Скажу о двух вещах, приведу два примера.

Перед нами уже стоит, но пока еще плохо осознается как едва ли не главный среди других, многочисленных грозных вопросов, и такой: кто мы? Какими мы выходим из страшных передряг двадцатого века? Разве прежними? Что в нас осталось от тех людей, что некогда населяли нашу страну, от поколений Чехова, Маяковского и даже Твардовского? И что мы приобрели (язык не поворачивается сказать: благоприобрели) нового по сравнению с ними? Без честного взгляда на самих себя мы не сможем сделать ни шагу вперед, лесть же самим себе, которую навязывают нам иные современники, может лишь отодвинуть нас назад, глубже вдвинуть в пропасть. В деле этого понимания поэзия Слуцкого — важный помощник, ею накоплен огромный и бесценный материал знания о нашем столетии и его людях, знания сердечного и вдохновенного, какого не добудешь никакой статистикой и социологией.

И второе. В поэзии и личности Слуцкого нам явлен благой и строгий пример возвращения от человека сугубо идеологического к человеку естественному, пример содрания с себя ветхих одежд, пример восстановления доверия к живой жизни с ее истинными, а не фантомными основаниями. Этот пример очень нужен нам — и тем, кто уже поглядывает за горизонт, и тем, кто еще только входит в жизнь. Пусть хоть после смерти он пробьется к нам со своим настойчивым словом.



Борис СЛУЦКИЙ

(1919—1986)

Своя война у Симонова, своя у Твардовского, своя — у Слуцкого. Слуцкий не стеснялся писать о самых, казалось бы, неэстетичных вещах, не стеснялся так называемых «прозаизмов». Однако он поднял грубую прозу бытового ада до вершин истинной поэзии. В стихах Слуцкого выношенный под огнем фронтовой демократизм, когда поэт не просто «сострадает простому люду», а страдает вместе с народом.

Слуцкий напечатал первое стихотворение еще перед войной, но, вернувшись с фронта, долгое время был самым знаменитым непечатаемым поэтом. Он был одним из немногих, вслед за Мандельштамом и Коржавиным, кто при Сталине писал против Сталина.

Для широкого читателя его стихи открыл Эренбург в 1956 году, напечатав о нем в «Литературке» статью, объявлявшую о приходе нового большого поэта. Появление этих стихов было одним из первых знаков оттепели. Слуцкий стал признанным лидером, на него равнялись молодые. Сейчас ему исполнилось бы 70.

До сих пор продолжают появляться многочисленные, так и не напечатанные при жизни стихотворения этого большого человека и одного из самых больших поэтов России XX века.

Величие поэта определяется не только его собственной поэзией. Величие поэта определяется способностью поднять на новую ступень поэзию как таковую. Борису Слуцкому это удалось.

Стихотворение «Комиссия по литературному наследству» публикуется впервые.

ЛОШАДИ В ОКЕАНЕ

И. Эренбургу

Лошади умеют плавать,
Но — не хорошо. Недалеко.
«Глория» — по-русски значит
«Слава».—
Это вам запомнится легко.
Шел корабль, своим названьем
гордый.
Океан старался превозмочь.
В трюме, добрыми мотая мордами,
Тыща лошадей топталась день
и ночь.
Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья все ж они не принесли.
Мина кораблю пробила днище
Далеко-далёко от земли.
Люди сели в лодки, в шлюпки
влезли.
Лошади поплыли просто так.
Как же быть и что же делать, если
Нету мест на лодках и плотах?
Плыл по океану рыжий остров.
В море, в синем, остров плыл
гнедой.
И сперва казалось — плавать
просто,
Океан казался им рекой.
Но не видно у реки той края.
На исходе лошадиных сил
Вдруг заржали кони, возражая
Тем, кто в океане их топил.
Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.
Вот и все. А все-таки мне жаль их,
Рыжих, не увидевших земли.

ГОЛОС ДРУГА

Памяти поэта Михаила Кульчицкого

Давайте после драки
Помашем кулаками:
Не только пиво-раки
Мы ели и лакали,
Нет, назначались сроки,
Готовились бои,
Готовились в пророки
Товарищи мои.

Сейчас все это странно,
Звучит все это глупо.
В пяти соседних странах
Зарыты наши трупы.
И мрамор лейтенантов —
Фанерный монумент —
Венчанье тех талантов,
Развязка тех легенд.

За наши судьбы (личные),
За нашу славу (общую),
За ту строку отличную,
Что мы искали ощупью,
За то, что не испортили
Ни песню мы, ни стих,
Давайте выпьем, мертвые,
Во здравие живых!

ХОЗЯИН

А мой хозяин не любил меня —
Не знал меня, не слышал и
не видел,
А все-таки боялся, как огня,
И сумрачно, угрюмо ненавидел.
Когда меня он плакать заставлял,
Ему казалось: я притворно плачу.
Когда пред ним я голову склонял,
Ему казалось: я усмешку прячу.
А я всю жизнь работал на него,
Ложился поздно, поднимался рано.
Любил его. И за него был ранен.
Но мне не помогало ничего.
А я возил с собой его портрет.
В землянке вешал и в палатке
вешал —
Смотрел, смотрел,
не уставал смотреть.
И с каждым годом мне все реже,
реже
Обидною казалась нелюбовь.
И ныне настроенья мне не губит
Тот явный факт, что испокон веков
Таких, как я, хозяева не любят.
1954

* * *

Я судил людей и знаю точно,
что судить людей совсем
не сложно —
только погодя бывает тошно,
если вспомнишь как-нибудь
оплошно.
Кто они, мои четыре пуда
мяса, чтоб судить чужое мясо?
Больше никого судить не буду.
Хорошо быть не вождем, а массой.

Хорошо быть педагогом школьным,
иль сидельцем в книжном магазине,
иль судьей... Каким судьей?
Футбольным:
быть на матчах пристальным
разиней.
Если сны приснятся этим судьям,
то они во сне кричать не станут.
Ну, а мы? Мы закричим, мы будем
вспоминать былое неустанно.
Опыт мой особенный и скверный —
как забыть его себя заставить?
Этот стих — ошибочный, неверный.
Я не прав.
Пускай меня поправят.

РЕБЕНОК ДЛЯ ОЧЕРЕДЕЙ

Ребенок для очередей,
которого берут взаймы
у обязательных людей,
живущих там же, где и мы:
один малыш на целый дом!

Он поднимается чуть свет,
но управляется с трудом.

Зато у нас любой сосед,
тот, что за сахаром идет,
и тот, что за крупой стоит,
ребеночка с собой берет
и в очереди говорит:

— Простите, извините нас.
Я рад стоять хоть целый час,
да вот малыш, сыночек мой.
Ребенку хочется домой.

Как будто некий чародей
тебя измазал с детства лжой,
ребенок для очередей —
ты одинаково чужой
для всех, кто говорит: он — мой.

Ребенок для очередей
в перелицованном пальто,
ты самый честный из людей!
Ты не ответишь ни за что!
1957

* * *

Владиславу Броневскому
в последний день его рождения
были подарены эти стихи.

Покуда над стихами плачут,
пока в газетах их порочат,
пока их в дальний ящик прячут,
покуда в лагеря их прочат,—

до той поры не оскудело,
не отзвенело наше дело,
оно, как Польша, не згинело,
хоть выдержало три раздела.

Для тех, кто до сравнений лаком,
я точности не знаю большей,
чем русский стих сравнить
с поляком,
поэзию родную — с Польшей.

Еще вчера она бежала,
заламывая руки в страхе,
еще вчера она лежала
почти что на десятой плахе.

И вот она романы крутит
и наглым хохотом хохочет.
А то, что было, то, что будет,—
про это знать она не хочет.

КОМИССИЯ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ НАСЛЕДСТВУ

Что за комиссия, создатель?
Опять, наверное, прощен
И поздней похвалой польщен
Какой-нибудь былой предатель,
Какой-нибудь неловкий друг,
Случайно во враги попавший,
Какой-нибудь холодный труп,
Когда-то весело писавший.

Комиссия! Из многих вдов
(Вдова страдальца — лестный титул)
Найдут одну, заплатят долг
(Пять тысяч платят за маститых),
Потом романы перечтут
И к сонму общему причтут.

Зачем тревожить долгий сон?
Не так прекрасен общий сонм,
Где книжки переиздадут,
Дела квартирные уладят,
А зуб за зуб — не отдадут,
За око око — не уплатят!



ЗАЩИТНИК ДЛЯ ГРАЖДАНИНА●
СКОЛЬКО ВЕСИТ ДЕФИЦИТ?●
СТРАСТИ ПО СЕВЕРНОМУ БАЙКАЛУ●

■

У меня создается впечатление, что те, кто ратует за сохранение прописки, кроме центральных районов страны, никуда не ездили и потому уверены, будто можно взять билет и поехать в любую точку Советского Союза.

Моя дочь, нефтяник, живет в пос. Муравленко Тюменской области, и я не могу поехать к ней, когда это необходимо. Билет мне ни одна касса без пропуска не продаст. А чтобы получить пропуск, нужно получить вызов, для чего дочь должна обивать пороги местных властей. После получения вызова я должна идти в свою милицию за пропуском, который получу через две недели. Пропуск дается только на определенное время пребывания. А если понадобится вновь ехать — опять та же процедура.

Между прочим, пос. Муравленко находится более чем в тысяче километров от Ледовитого океана, в тайге, границей там и не пахнет. Вот вам и свобода передвижения. Пора бы открыть и север Тюменской области, как это сделали с Дальним Востоком.

И с пропиской такая же история. Если здоровье не позволяет жить в данной местности или по другим причинам, попробуйте поехать куда-нибудь. На работу не примут без прописки. И не пропишут, пока не работаешь.

Согласна с теми, кто утверждает, что прописка не нужна.

В. В. БУРДАКОВА,
пенсионерка
Ижевск

■

Обращаюсь к вам по животрепещущему вопросу: «Кто защитит наши гражданские права?»

На днях получила извещение со следующим текстом (цитирую): «Тов. жильцы! В 3-дневный срок получите единую расчетную книжку. Имея при себе: ст. книжку по квартплате, телефонную к-ку, световую к-ку, иначе телефон будет отключен».

Почему приказной тон? Почему угроза карательным действием, почему отключать телефон, который оплачен?

На вызов не иду: пускай кладут расчетную книжку в почтовый ящик, как это делалось обычно. Но, приехав вечером с работы, обнаруживаю, что телефон отключен.

Через три дня иду в РЭУ-2 Волгоградского района и застаю оживление. У работающих здесь молодых, цветущих женщин приподнятое настроение. Они довольны своей работой. Поясняют, что передали очередной список жильцов на отключение телефонов. «Теперь прибегут менять книжки. Я как узнаю номера телефонов, так составляю списки на отключение». Словом, работа кипит.

Сдаю свои оплаченные книжки для их замены, а мне выдают бланк для оплаты штрафа.

— А это еще за что?

— Два рубля за включение.

А я-то думала, что мне принесут извинения за принесенный моральный ущерб и материальную компенсацию за отключение оплаченного телефона.

Спрашиваю: на основании какого постановления за незамену книжки отключают телефон?

Оказывается, действуют они без приказа и постановления, к карательным функциям приступили на основании телефонного указания сотрудницы Люблинского телефонного узла В. П. Песковой.

Прошу «книгу предложений». Очень доброжелательно отвечают, что такой книги у них нет.

Сегодня нет у нас такого органа, который бы занимался вопросами нарушения прав граждан и защитой этих прав. Поэтому все этажи бюрократии повседневно и безнаказанно их нарушают. Только полной безответственностью можно объяснить заявление ведущего бухгалтера РЭУ-2: «Пишите, куда хотите и что хотите!»

Осуществляя эту рекомендацию, я пишу в журнал «Огонек» с надеждой, что он поднимет вопрос: кто защитит нас от нарушений наших гражданских прав?

Может быть, стоит создать такой комитет при органах местного самоуправления, которые надо выбирать безотлагательно?

Э. В. РАЗУВАЕВА
Москва

■

В очерке В. Федякина «Голубые города» (№ 5, 1989) поднята проблема города Северобайкальска и его жителей. Разделяя встревоженность журналиста создавшейся там ситуацией, должен с сожалением отметить, что в этом очерке мне приписаны вымышленные суждения. Моя действительная точка зрения на обсуждаемую проблему была изложена в газете «Правда» (20 июля 1987 г.), в журнале «Новый мир» (№5, 1988 г.) и сформировалась под воздействием следующих факторов: Северобайкальск (институтом «Ленгипрогор» разработан проект города с населением 140 тысяч человек), уже сегодня демонстрирующий устойчивую тенденцию к росту, нанес и продолжает наносить огромный, невосполнимый урон Байкалу и природе Северобайкалья.

В самом городе решение возникших проблем видят в скорейшем строительстве промышленных предприятий, о чем на седьмой сессии Верховного Совета РСФСР говорила депутат М. Г. Комарова.

Если создающие угрозу Байкалу Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат (Бурятия) и Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (Иркутская область) могут быть закрыты, перепрофилированы, то промышленный город с десятками, сотней тысяч населения нельзя ни «закрыть», ни «перепрофилировать».

Согласно данным сейсмологов, площадка Северобайкальска относится к зоне 8-балльных землетрясений, поскольку находится непосредственно на Байкальском рифте, там, где проходит разлом земной коры не просто гигантский, а планетарного масштаба, сопровождающийся активными процессами горообразования и дальнейшего развития самой Байкальской впадины. Наука самым недвусмысленным образом прогнозирует здесь возможность катастрофических землетрясений с тяжкими последствиями.

Все это увязывается с решением экспертной комиссии Госплана СССР от 13 января прошлого года и говорит о необходимости безотлагательно обеспечить надежную фиксацию численности населения Северобайкальска на ее нынешнем уровне, исключить любую возможность размещения там промышленных предприятий и создать необходимые условия для переезда жителей Северобайкальска, которые страдают от острой нехватки жилья и рабочих мест, в поселок Таксимо, расположенный в 400 километрах восточнее по Байкало-Амурской магистрали. Эти действия гарантируют в конечном счете превращение Северобайкальска в поселок железнодорожников с населением 14 тысяч человек, как это и было предусмотрено первоначальным проектом.

Таксимо, будущий город, находится в бассейне Лены — Витима, в экологически менее уязвимом регионе, чем северное побережье Байкала, и имеет большие перспективы промышленного развития в связи со строительством Мокской ГЭС на реке Витим и близостью ряда крупных горнорудных объектов Бурятии и Иркутской области.

Подобное решение очень непростой проблемы Северобайкальска и его жителей становится особенно актуальным еще и потому, что теперь, когда СССР присоединился к Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, Байкал, как уникальная природная ценность, будет в числе первых включен в список всемирного наследия. Тем самым спрос именно с нас, ныне живущих, за судьбу его возрастет.

Владимир МИТЫПОВ,
член Союза писателей СССР
Улан-Удэ

■

В универмаге Чимкента отдел дефицитных товаров никогда не пустует. Здесь и детские колготки, и импортная одежда, и шампунь, и обувь, и детские игрушки, и много еще такого, что мы видим только на картинках. А тут, пожалуйста, покупайте в любое время. Вот только, чтобы купить двухрублевый шампунь, нужно сдать тряпок на 1 рубль 80 копеек (а это ни много ни мало, а 30 килограммов — по 6 копеек за килограмм). Детская резиновая игрушка стоит 1 рубль 20 копеек, значит, сдать надо 20 килограммов тряпок. А приглянись мне куртка для мужа за 180 рублей, так пришлось бы очистить весь дом.

В Москве, слышала, введены талончики стоимостью 5 рублей за три килограмма цветных металлов. Для нас это просто сказка.

Обратилась за разъяснениями и услышала: люди берут, не жалуются, и нечего, мол, указывать.

В окружении многих таких непонятливых, как и я, частенько стою в заветном магазине, любуюсь товарами и слышу, как возмущаются люди: где достать столько старья? Я попыталась как-то собрать, да у меня хватило только на одни детские колготки.

Т. С. УДОВЕНКО,
мать троих детей
Чимкент

■

19 марта газета «Советская Россия» опубликовала историческую новеллу писателя Валентина Пикуля «Потомок Мономаха». В ней он рассказывает о жизненном пути князя А. Б. Лобанова-Ростовского, личности выдающейся и многосторонней. Рьяно защищая значение генеалогии для истории (с чем никто сейчас не спорит), автор пишет:

«Много лет нас ограничивали знанием дедушки Льва Толстого или бабушки Александра Пушкина, а дальше не пускали, как не пускают детей в таинственные чащобы древнего леса. От подобного бессилия исторического интеллекта насаждалась генеалогия нового типа, отчего появились, к примеру, «знатная династия токарей Патрикеевых» или «славная династия ткачих Пахомовых». Плохо дело, если два-три поколения одной семьи прикованы к слесарному или ткацкому станку, не в силах от них оторваться! И ничего путного не усматриваю в этом новоявленном «дворянстве», невольно вспоминая старое и емкое слово «быдло...»

Думается, что за подобный пассаж не похвалил бы В. Пикуля прежде всего сам А. Б. Лобанов-Ростовский, который, как явствует из той же новеллы, знал «родство меж фамилиями не только знатными, но и захудалыми...» Не пришел бы в восторг А. С. Пушкин, считавший свою няню, крепостную крестьянку Арину Родионовну «подругой дней суровых», и почитая, напротив, за «быдло» иных князей. Помните: «В Академии наук заседает князь Дундук. Говорят, не подобает Дундуку такая честь; почему ж он заседает? Потому что... есть!» И уж, конечно, рассердился бы Л. Н. Толстой, отношение которого к простым людям известно.

Именно в таланте и духовной чистоте простого народа видели декабристы подлинную родовитость. Разумеется, не в лентяях и преступниках, а в подлинных мастеровых и умельцах, которые, выражаясь попикулевски, «прикованы» к своему делу и «не в силах от него оторваться».

А Тургенев? Некрасов? Достоевский?.. Думаю, не ошибусь, что они «быдлом» скорее назвали бы не мастеров плотничанья или ткачества, а как раз тех, кто относится к этим рабочим династиям как к «быдлу», забывая заодно свою собственную генеалогию.

Л. С. ПЕТРОВ,
член Союза журналистов СССР

Наш адрес: 101456, ГСП, Москва Бумажный проезд, 14.



Первый вариант этого романа был рожден почти 25 лет назад. События, описанные в нем, совершаются в течение одних суток — в один из осенних дней 1961 года, когда по решению XXII съезда партии по всей стране были демонтированы бюсты, памятники и многометровые монументы Сталина, когда в ночь были изменены названия населенных пунктов, улиц, пароходов. «Демонтаж» написан в редчайшем для русской литературы жанре — романа-памфлета. Это произведение одновременно и гротескно-сатирическое, и политическое. Еще четверть века назад автор в нем ответил на вопрос, который многих волнует сегодня: почему не удалась десталинизация на рубеже 50—60-х годов? Анатолий Злобин считает, что не удалась она потому, что памятники рушили те же люди, кто их и возводил. По этой причине о публикации романа в 60-е годы (не говоря уже о 70-х) не могло быть и речи. Опасно было даже давать читать его коллегам. Мало того, рукопись, а также машинописные и микрофильмированные экземпляры «Демонтажа» приходилось прятать от особо усердных «охотников» на них — ведь еще слишком была жива память об аресте рукописи романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба». Однажды Анатолий Злобин получил предложение напечатать роман на Западе. Многие советовали ему пойти по этому пути, проторенному другими литераторами. Но писатель был всегда уверен (даже в самые мрачные годы «застоя»), что еще при его жизни наступит такое время, когда «Демонтаж» будет напечатан дома. И эти времена, наконец, наступили — журнал «Нева» полностью публикует роман в этом году. Актуальность его со временем отнюдь не ослабла. Это роман-анализ, роман-предостережение. Публикуемая глава рассказывает о дневнике, найденном под правым каблуком обрушенного тридцатипятиметрового монумента Сталина.

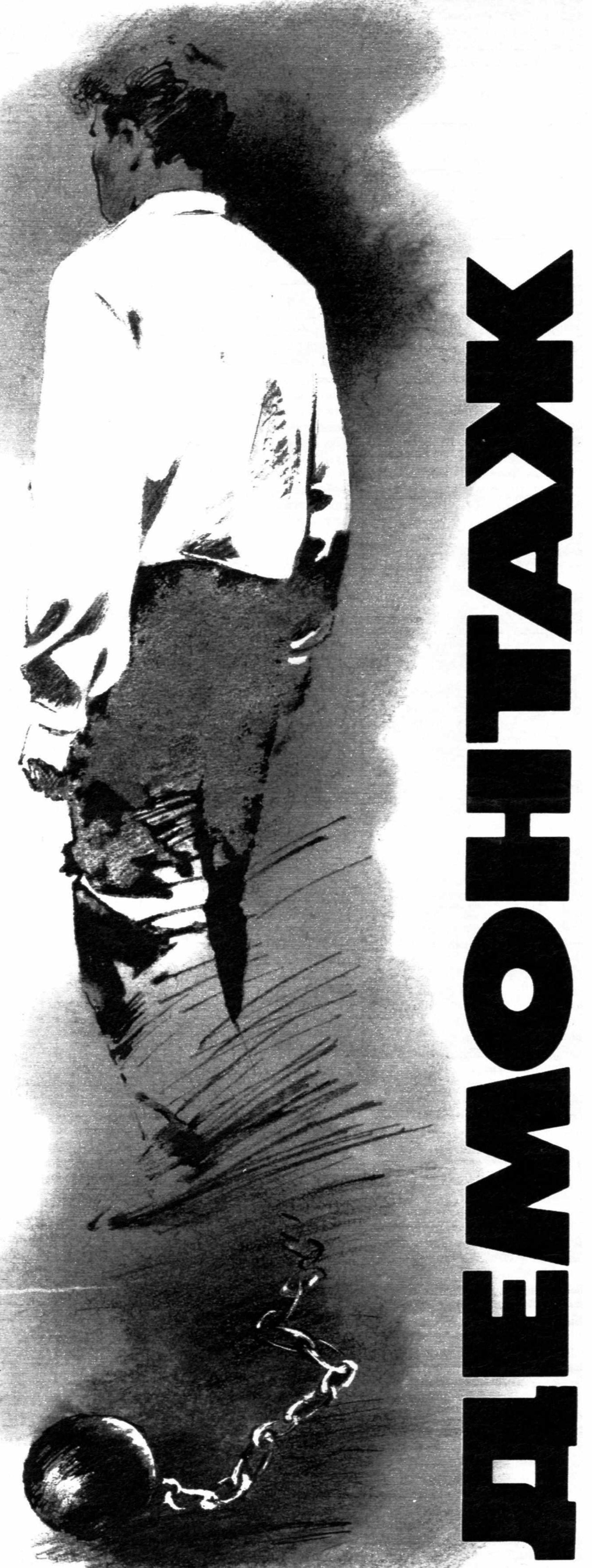


Рисунок Левона ХАЧАТРЯНА

Анатолий ЗЛОБИН

«МЕДНАЯ ТЕТРАДКА»

ГЛАВА ИЗ РОМАНА

Сегодня последняя решающая ночь перед прорывом, и мне не спать, я должен завершить свои записки, чтобы сдать их на вечное хранение в правый каблук. Утром буду прорываться сквозь колючую проволоку в надежде, что мне удастся скрыться внутри.

Записки оставлю у Власа, он и спрячет в тайник. С собой ничего. Туда нельзя.

Хорошо, что я не изменил своей привычке и продолжал вести дневники в самые страшные дни, это поможет мне разобраться в последовательности событий. Нелли твердила: не пиши, это опасно. Но после того, что случилось, никакой другой опасности не могло быть.

Кто-то ведь должен оставить бесстрастное свидетельство об эпохе. Пусть это сделает кто-то другой.

Но другой — это я сам.

Поэтому возвращаюсь к тому самому дню, когда все это началось.

10 августа 1951 года. С этого дня отсчитывается новая эра моей жизни.

Попытаюсь рассказать обо всем по порядку. Вчера было воскресенье, и потому выплатной день (девятое число) автоматически переносится на сегодня, о чем я весьма горевал, так как в доме не было ни копейки, а Неллина получка еще через неделю. Хорошо, что удалось перехватить 50 рублей у Кости, который зашел к нам совершенно случайно. У Кости был юбилей его ранения на фронте, выпили за нашу Победу. На другой день было прекрасное солнечное утро, кто же знал, что оно окажется столь беспощадным. Я пошел в кассу пораньше, чтобы получить деньги и успеть до обеденного перерыва сбегать в магазин, прихватить что-нибудь из продуктов, как распорядилась Нелли, ибо деньги будут лишь у меня, а мы работаем в разных концах города. Я рассчитывал получить рублей 500, так что и Косте можно будет отдать и до Неллиной получки дотянуть. Я нарочно утопаю в отвлекающих подробностях, потому что рука никак не наберется твердости дойти до главного.

Что теперь будет с нами? Со мной?

Итак, я развязываю узелок этого нелепого мешка и смотрю в его мрачное чрево. В кассе никого передо мной не было, а чек выписывал, как всегда, Андрей Степанович, который сидит здесь двадцать лет. Я никогда не давал ему паспорта. Две-три фразы о погоде, здоровье — и я отходил с чеком. Так и сегодня.

— Лазарев Зиновий Соломонович? — быстро спросил он и при этом странно посмотрел на меня.

— Не узнаете, Андрей Степанович? Я же всегда у вас?

— Я не могу вам выплатить деньги,— сказал он печально и с тем же странным взглядом.

— Разве они не выписаны? — спросил я с надеждой, что произошла какая-то ошибка, потому что в его взгляде было что-то леденящее.

— Вам выписано,— отвечал он.— Но...

— Что «но»? Может, я налоги не заплатил прошлый раз?

— Вам нельзя заплатить деньги,— заявил он более твердо, раздражаясь против меня по мере моего изворачивания.

— Как так нельзя? Дома ни копейки,— лепетал я.— Почему нельзя?

— У нас имеются сведения, что вы арестованы, Зиновий Соломонович,— наконец-то заявил он, сжалившись надо мной.

— Выходит, перед вами стою не я? — продолжал я лебезить.— Это недоразумение, уверяю вас,— твердил я.

— Скорей всего не вы.

И захлопнул окошечко кассы, давая знать, что разговор окончен. Кто-то встал в очередь за моей спиной. Я поспешил выйти из душного закутка и пошел вниз по широкой деревянной лестнице. Вот когда до меня дошло: я же арестован! Да, да, арестован. Я давно ждал этого дня и дождался! Когда я послал документы в Большой дом? В конце мая. Ну что ж, они работают оперативно, на них грех жаловаться.

Я дошел почти до конца лестницы. Значит, они ждут меня там, за дверью. Я слышал о таких случаях.

Кто-то спускался за моей спиной. Была не была.

Я решительно толкнул дверь на улицу. Мимо пробежал майор, спешащий к троллейбусу. Никто меня не хватал и рук не выламывал. Ну что ж, это означает, что они дают мне небольшую отсрочку.

На углу мой взгляд натолкнулся на телефонную будку. Сегодня неприсутственный день, вовсе не обязательно ехать на работу. Но позвонить туда следует. Это будет разведывательный звонок.

Я нашарил в кошельке последний гривенник и зашел в будку, озираясь по сторонам. Ответила Нина, наша секретарша.

— Попросите, пожалуйста, Лазарева,— сказал я, изменив голос.

— Кто его спрашивает? — спросила она с подозрением.

— Это его фронтовой товарищ, я проездом в Москве. А где Зиновий Соломонович?

— К сожалению, его нет. Он в настоящее время в командировке.

— В какой, вы не скажете?

— В длительной,— и повесила трубку.

Ясно, что Нина говорила со мной под контролем. Они ждут меня на службе. Ну что ж, они меня не дождутся.

Теперь домой — для контрольной проверки. Нелли впустила меня в коридор и с плачем упала на грудь.

— Можешь ничего не говорить, я все знаю,— говорила она, всхлипывая в мой пиджак.— Тебе, наверное, и гонорара не дали. Но я навела справки: гонорар они обязаны выплатить мне.

— Слушай, откуда ты это знаешь? Почему эта новость все время идет впереди меня?

— Звонил Костя. Ему сказал шеф.

— Что же теперь нам делать?

— Ты не должен скрываться и таиться. Иди к ним.

— По-моему, они сами приходят за нами. Так по крайней мере логичней.

— В таком случае ты будешь ждать их дома. Скрываться бессмысленно.

В этот вечер не раздалось ни одного телефонного звонка. Какими же наивными мы тогда были.

12 августа. В сентябре мы должны были уехать с Неллей к морю. Теперь об этом не могло быть и речи. А наши планы лишь начинали рушиться.

Первую ночь мы не спали. Два раза к дому подъезжали машины, одна прямо к нашему подъезду, но лифт поднялся на два этажа выше, это взяли Максименко. Сколько лет мы уже жили так, засыпая перед рассветом, потому что, как правило, после трех часов ночи они уже не приезжали. Но если до этого наши ночные вслушивания в движение лифта и хлопанье дверей были скорее гипотетическими, то теперь они обрели полную конкретность. Ведь я уже арестован. Значит, они обязаны прийти за мной.

Сначала я устроился в маминой комнате, но потом подумал и перебрался в дальнюю каморку, так будет удобнее, во всяком случае, справедливей.

— Давай переведем маму в мою комнату, на мой диван, а в каморку поставим мамину раскладушку.

— Раскладушка там не поместится. Там стоит бабушкин сундук, я постелю на него матрац, и будет вполне сносно.

Я зацепил стулом за буфет.

— Тише. Оленька услышит. Ей сказали в школе.

— А мама от кого узнала?

— Без меня приходил дворник.

— Черт возьми, какая досада, что я гонорар не успел получить.

И сам подумал: почему это должно теперь заботить меня? Я арестован и, следовательно, нахожусь на полном государственном обеспечении.

Нелли закрыла за мной каморку, потом просунула в дверь голову и жарко шепнула:

— Как ты думаешь, кто на тебя донес? Я уверена — это Костя.

Я запустил в нее старым валенком.

13 августа. Бабушкин сундук оказался совершенно не приспособленным для лежания, но первый раз после войны я заснул как убитый и проспал больше двенадцати часов. И это, учтите, без каких бы то ни было снотворных. Стоит ли мне отныне бояться, что за мной приедут на лифте, если я уже арестован?

Моя каморка — это старый чулан, наполненный запахами прошлого века. Теперь сюда ворвался свежий ветер современности.

Сколько старой рухляди в чулане, мы вечно цепляемся за нее. Как? Выбросить эту прекрасную бабушкину раму? Мы еще закажем в эту раму твой портрет, и она будет как новенькая. Не трогай эту перину, она же совсем свежая. Самое удивительное в том, что старый хлам не мешал нам жить. Наоборот, он словно бы оберегал нас от будущего.

Зато повернуться действительно негде. На бабушкином сундуке я могу лежать, лишь подогнув колени к подбородку или задрав ноги на стенку. Маленькое окошко с матовым стеклом выходит на лестницу черного хода, но иногда я чувствую оттуда дуновение свежего ветерка.

Дверь в чулан завесили снаружи старой одеждой, так что ее совсем не видать из коридора.

Я законопачен надежно. Впрочем, все это от домашних. Когда они придут, то найдут меня в два счета. От них не спрячешься.

Тем не менее я могу считать, что воздвиг баррикаду против страха. Однако неизвестно, где находится сам страх: внутри каморки или вне ее? Или он во мне самом?

Что происходит? Я не только не знаю ответа, я не в состоянии поставить правильного вопроса. Что происходит — это не есть постановка вопроса, скорее это уход от проблемы. Я не знаю, что происходит,— и потому бессмысленно задавать себе постановочные вопросы.

А происходит одно — страх. Мы живем вздрагивая. Страх овладел жизнью общества. Шумит под окном воронок. Бесшумно поднимается лифт. Все слышит чуткое ухо бессонных. Страх не дает нам заснуть. На работе появляется посторонний лицо — и под ложечкой засосало.

За анекдот об автобусе — 10 лет, это такса, за два анекдота, ну, скажем, африканские бананы и русые косы — по совокупности 15 лет.

Николай Васильевич Г. пустил гулять каламбур об электрификации всей страны, получил на полную катушку, 25 лет, будет сидеть до 1973 года, ему тогда исполнится 76 лет, это означает лишь одно: он не вернется.

Антон Павлович Ч. провозгласил за ужином тост:

— Выпьем за съезд цинических работников искусств, который открывается завтра.

Получил всего десятку, будет сидеть до 1958 года.

Захара Крамова пришли арестовывать прямо в редакцию. Он не рассказывал анекдотов, не изрекал афоризмов, зато работал на японцев, как выяснилось. Захар был дежурным по номеру, как раз 31 декабря, и номер газеты новогодний, он подписал три полосы, оставалась последняя, четвертая, где был юмор. Захар позвонил жене, сейчас подписываю и едем встречать Новый год, будь готова. В кабинет вошли двое. Вот ордер, вы арестованы по приказу наркома, видите его подпись? Это недоразумение, воскликнул Захар. Все мы тогда так восклицали. Кого-то забрали, так это за дело, а как до меня дошло, так это недоразумение.

Если это недоразумение, то мы мгновенно выясним и отпустим вас, ласково сказал тот, что был постарше, конечно, подумал Захар, это недоразумение, они тут же отпустят меня, может, я еще успею на встречу Нового года, хорошо, я готов, сказал им, но мы, говорит тот, не хотели бы идти по бокам, чтобы не создавать нездоровой обстановки в редакции, тем более надевать наручники, что же вы предлагаете, идите впереди нас, мы за вами, но только не вступайте ни с кем в разговор, это невозможно, отвечаю я этим нудилам, я же номер веду, ко мне десятки вопросов, каждый будет обращаться, хорошо, говорит он, тогда отвечайте им, я скоро вернусь, но только это, ничего другого, и мы пошли по коридору, выскакивает Юра, Захар, у меня клише не получилось, я скоро вернусь, Захар, что делать с подписью, у меня юмор задерживают, я скоро вернусь, Захар, где корректоры, куда они подевались, я скоро вернусь, Захар, ты куда, я скоро вернусь.

Прошло тринадцать лет. Где Захар? Скоро ли вернется?

Массовость террора служит оправданием его справедливости, не мной открыто, так было во все века. Если посадить пять человек, то это может быть месть, ошибка, борьба за власть, наконец. Но если посадить миллион, то это уже не может быть ошибкой, значит, они действительно враги, действительно боролись против власти. Именно так возник всенародный лозунг, родившийся подпольно, но облетевший все фасады, прибитый к каждому окну, причем с внутренней стороны:

У НАС ЗРЯ НЕ САЖАЮТ

Это было наше противоядие от страха, который царил в каждом. Но это не спасало от новых репрессий. Оставшиеся на воле повторяли как заклинание: у нас зря не сажают.

Слышу три условных стука. Пришла с работы Нелли, снимает с двери старые шубы. Сейчас мне дадут поесть.

18 августа. Вчера появился первый за эти дни гость: Костя. С порога кинулся утешать Нелли.

— Я все знаю. Какое несчастье.

Потом они перешли на шепот и долго говорили, видимо, о тех пятидесяти рублях, которые мы ему остались должны, потому что Костя все время благородно отнекивался и отталкивал Неллину руку. После я услышал, как он сказал от двери:

— Только никому не говори, что я у вас был.

Какое благородство.

Кто же все-таки донес на меня?

24 августа. Вечером Оленька во всеуслышание объявила матери, что она отрекается от отца врага народа, так ей сказали в школе перед началом учебного года, иначе ее не примут в комсомол и после школы она не сможет поступить в университет. Нелли хваталась за сердце и причитала, а я сидел, стиснув зубы. Что мог я поделать? Мы сами воспитали это поколение, во всяком случае, воспитывая своих детей, не сумели противопоставить ничего более впечатляющего против официальной пропаганды. Их воспитывали бойскаутами, мы молчаливо соглашались с этим. Сын донес на отца, поэты воспевали предательство в поэмах, мы разбирали вслух размер стиха, качество рифмы, лишь бы не касаться сути. В сущности, мы сами были воспитаны точно так же. Наши идеалы, взращенные революцией, оказались выше действительности. Все во имя сохранения идеалов.

Они долго барахтались в потоках слов. Оля плакала. Ведь она интеллигентка в пятом поколении. Неужто ей идти в уборщицы?

Я продолжал молчать. В этом доме я уже безгласный, а Нелли следует привыкать ко всем последствиям моей безгласности.

28 августа. Привыкаю к тому, к чему нельзя привыкнуть. Вчера Нелли объявила, что не сможет кормить меня три раза в день, а только два раза, утром и вечером, и то весьма умеренно. Я великодушно отвечал, что все понимаю и согласен сесть исключительно на хлеб и воду. Сегодня успел убедиться, как это несладко. Но говорят, первые дни голодания самые трудные.

— Я продам твой синий костюм,— заявила Нелли.— Он почти новый.

— Ни в коем случае. Я еще здесь.

Вечером она принесла мне кастрюльку.

— Что это?

— Передача тебе. Я продала кофточку.

Можно ли привыкнуть к страху? Привычка к страху есть смерть организма. Я часто с замиранием думал о возможности моего ареста, проигрывал возможные ситуации, так на фронте я часто думал о возможности пленения врагом: как я поведу себя, если попаду в плен? Ответ был весьма гипотетическим. А как я буду вести себя во время ареста? Во всяком случае, независимо, буду выше своих палачей. Разумеется, они пришли за мной ночью, я сам открыл им дверь, я был одет, отвечал им язвительно, лишь бы они не нашли пакет с бумагами, спрятанный за батареей, там были копии тех документов, которые я обнаружил в прошлом году в архиве и послал в Большой дом. Но все случилось не так. Я оказался явно не подготовленным к тому, что случилось со мной. И вот страх засел во мне, словно я лежу в кювете под бомбежкой, а бомбы продолжают сыпаться. Собственная беспомощность — вот что самое страшное.

Но страх есть наше спасение. Это биологическая защита организма перед возникшей опасностью. Страх, как и боль, защищает нас от беды. Мы инстинктивно отдергиваем руку от огня: больно. Я не пойду по натянутому канату: страшно. Но ведь люди ходят по натянутому канату и не падают.

Так это в цирке.

Боль защищает. А страх унижает. Наступает такой момент, когда страх сам становится болью.

Не смею привыкать к моему страху. Я должен гнать его прочь.

6 сентября. Условный стук в дверь:

— Собирайся на прогулку. Оля ушла в школу. Мама спит.

Юркнул на лестницу, ныряю в лифт. Спускаюсь к Солянке, выхожу на скверик. Как хорошо на воле. Уже три недели, как я арестован и первый раз дышу свежим воздухом. Снуют прохожие, никому нет до меня дела. Сцепившись пальцами, бредет парочка.

Я в синем костюме, том самом, который запретил продавать. Машинально запускаю руку в боковой карман. Какое счастье: тридцать рублей, плотная красная бумажка, сложенная вчетверо, видно, сам упрятал ее от Нелли. Не раздумывая, бегу через улицу — там пельменная. Заказываю две порции у развязной официантки, та ставит передо мной котелок с похлебкой.

— Позвольте. Что это?

— Сам знаешь. Не прикидывайся.

Я бежал вверх по скверу до самого памятника гренадерам, пошел вдоль Политехнического музея. Выходит, на мне клеймо, если даже чужие догадываются о моем положении?

Но люди текли мимо, не обращая на меня внимания. Кто знает, может, они такие же, как я?

— Зиновий, это ты? Откуда?

Передо мной стоял Тимур, наша надежда и гордость.

— Сам видишь, гуляю.

— Но ты же того — арестован?

— Ну и что? Я на прогулке. У меня увольнительная.

— Неужто стали давать? Давно?

— С прошлой пятницы. Но за мной наблюдают. Учти.

Его тут же сдуло ветром современности, я просто

не успел заметить, в каком направлении он растворился.

Зашел в букинистический магазин, покопался в книгах, завернул за угол, и передо мной раскрылась Голубянка. Вот куда мне нужно. Больше я так не могу. Если арестован, пусть меня посадят, дадут мне мой липовый срок, отправят в лагерь — все как у людей. Если же произошла ошибка, то отпустите меня на все четыре стороны, дайте мне возможность работать и содержать семью. Я честный человек, никогда не был тунеядцем и не умею им быть. Я люблю свою работу, много пишу, сделал несколько научных открытий по своей теме. Правда, печататься с каждым годом было все труднее. Наше прошлое не нуждалось в добросовестном подходе.

Я пойду к ним. Я все им скажу.

Но сначала надо изучить подходы. В какой подъезд по моему вопросу? С наскока нельзя бросаться. Я медленно пошел обратно в букинистический магазин.

Тимур стоял рядом у прилавка, листая книгу. Толкнул меня в бок.

— Ты кто?

— Как кто? Я — это я.

— Ни за что не соглашайся на немецкого шпиона. Это наверняка вышка.

— Какой же шпион лучше? Что ты мне посоветуешь?

— Конечно, американский, нет разговора. Это наши бывшие союзники, тут возможны всяческие смягчающие обстоятельства. Если ты будешь американским шпионом, у тебя появятся твердые шансы.— И сунул мне полсотни.

10 сентября. Нелли сказала, что никогда не бросит меня. Но надо бороться. После обеда она пошла на Голубянку, я с нетерпением ждал ее возвращения. Она прибежала ко мне через весь коридор, не таясь от матери.

— Я все узнала, восемнадцатого сентября все решится,— возбужденно выкрикивала она через дверь, не успевая снять пальто, которым я был завешан.

— Что же может решиться в моем положении, Нелли?

— Все! Восемнадцатого сентября мне разрешено свидание.

— С кем?

— С тобой. Восемнадцатого числа в два часа дня. И я его увижу.

— Кого? Меня? — ошарашенно спрашиваю я.

— Ну того, который ты. И мы сразу разгадаем эту путаницу. Тогда можно будет доказать, что ты — это не ты.

Вот когда я почувствовал страх реального ареста. Но тут же была и радость освобождения от того страха, с которым я жил сейчас. Через неделю все будет разъяснено и закончено. Я снова вернусь к людям, и это будет в обоих случаях, либо по ту сторону колючей проволоки, либо по эту сторону.

— Надо приготовить ему передачу,— быстро сказал я.— Может быть, постараться написать записочку.

— Меня предупредили. Никаких записок.

В эту ночь я не спал.

18 сентября. Нелли ушла с запасом времени, чтобы не опоздать на долгожданную встречу, и вернулась буквально через полчаса. Я не вытерпел, спустился вниз и ждал ее на углу обувного магазина. Она шла постаревшая, на ней лица не было, и не видела меня.

— Что? Как?

Она вздрогнула:

— Его нет.

— Где же он?

— Позавчера был суд, он получил пятнадцать лет и вчера отправлен по этапу в лагерь, еще неизвестно, куда он попадет. Следующее свидание через шесть месяцев.

— Пятнадцать лет? Значит, мне сидеть до 1966 года?

— Да, мне выдали справку.

Мы стояли на углу Солянки у обувного магазина и плакали.

28 сентября.

СПРАВКА

Выдана настоящая гр. Лазаревой Н. В. в том, что ее муж Лазарев З. С. осужден судом Особого трибунала к 15 годам лишения свободы по ст. 59-6 с содержанием в исправительно-трудовых лагерях усиленного режима.

Дана для предоставления по месту жительства в домоуправление № 14.

Печать. Подпись.

— Я у них не просила, они сами выдали мне ее с наказом, чтобы я сдала в домоуправление.

— Не понимаю, для чего им это потребовалось?

— Ты обратил внимание, там указано совсем другое домоуправление, другой номер. Ведь у нас домоуправление № 24, а тут стоит № 14.

— Ну это близко, могли напутать.

— Точно так же, как напутали с тобой, да?

— Не вижу повода для иронии.

— Неужели ты не понимаешь, для чего эта справка? У нас будут забирать квартиру. Три несчастные одинокие женщины живут в четырех комнатах: кто ж такое допустит?

— Я буду действовать. Завтра же.

29 сентября. Начал исследование подходов к Голубянскому зданию — и не зря.

Окна первого и второго этажа зарешечены, иные аж в два слоя. На подоконниках стоят казенные лампы. Шторы на окнах тяжелые, плотные, отсюда ничто не должно исходить, даже свет.

Парадный подъезд исполнен в виде вознесенной стрелы. И весь фасад вокруг первого подъезда и над ним слегка игривый, с башенками, завитушечками, недаром этот стиль прозвали «ампир во время чумы». До революции здесь размещалось акционерное об-во «Россия». И поделом!

К подъездам со стороны площади подъезжают начальственные машины. Судя по маркам машин, у этих подъездов несколько рангов, от генеральского до секретарского, куда проходят машинистки и стенографистки допросов.

А с переулка — подъезд для жертв. Здесь вовсе нет мужчин, одни женщины. Изможденные лица, потухшие или, наоборот, отчаянные глаза, готовые на все. Этим женщинам нечего терять больше, ибо они уже потеряли все. В этом подъезде выдают справки о мужьях, отцах, сыновьях, видимо, все такие же безнадежные, как та, которая получена Нелли. Они собираются сюда с утра, стараясь занять очередь ближе к дверям, чтобы скорее получить свою беспросветную справку. Они стоят понуро и молча. Здесь судьба народа. Кто разгадает ее?

Было сказано: худшие уничтожают лучших. Это неправда. Это ложь — нравственная и научная. История России сплошь состоит из междоусобиц. Но если бы все время шло уничтожение лучшей части нации, никакая держава не выдержала бы, в том числе и Россия. Не худшие уничтожали лучших, нет! Сильные уничтожали слабых. Что и способствовало биологическому выживанию вида. Общество само выбраковывает наиболее слабых своих членов. Потому после каждой междоусобицы Россия становилась сильнее.

А началось все с опричнины, затем со стрелецкой казни.

Так и тянется кандальная цепочка через века, сплетая их воедино в то, что мы зовем историей России.

На третьем витке вокруг Голубянки я пробовал сунуться в этот плакучий подъезд.

— Простите, кто здесь крайний?

Она посмотрела на меня таким испепеляющим взором, что я сразу оказался на той стороне улицы. А там за углом табличка: «Приемная». Просовываюсь в окошечко.

— Вам что, гражданин? Вы с пакетом?

Я понял, что означает этот термин, но отступать было поздно.

— Простите, я хотел справиться.

— О чем?

В самом деле, о чем я хотел спросить? Совсем из головы выскочило. Почему на Руси слабые часто оказываются в то же время и лучшими? Черт подери, так все-таки — о чем?

— Понимаете, какая неприятность. Меня арестовали, но при этом забыли отвезти в тюрьму, и я остался на воле, а вместо меня посадили другого человека, имеющего такую же фамилию, но по всей видимости, невиновного, произошла ошибка.— Я радовался, что мне удалось так коротко и складно ему объяснить, то о чем другой бы мямлил часами, но он смотрел на меня стеклянными глазами, по-моему, он так ничего и не услышал.

— У нас ошибок не бывает. Запомните. О чем вы просите?

— Простите, я хочу вам объяснить. Меня аресто...

— Просьба. Коротко и ясно.

— Арестуйте меня.

— Оставьте заявление. Оно будет рассмотрено.

Я наспех нацарапал на листке бумаги, подал ему. Кажется, теперь он был доволен. Тотчас поставил на мне входящий номер и подшил меня в папку.

Что делать? Снова обошел все здание по периметру. Двое молодцов преградили мне путь. К главному подъезду подкатила длинная черная машина. На ходу распахнулась дверь, выталкиваемая лихим адъютантом, и на тротуар ступил невысокий человек в пенсне, тут же шмыгнувший в подъезд. Я узнал его, это был Лаврентий. Одно его слово, и все мои проблемы были бы решены, меня запрятали бы так, что я сам не нашел бы туда дороги.

Но где же подъезд для стукачей? Ведь это как раз для меня, если я хочу стукнуть на самого себя.

19 октября. Резолюция на моем заявлении гласила:

«Сидит за дело, ведет себя хорошо. И ты не рыпайся, а то...» подпись неразборчива. Глаз у меня острый, и все это я успел прочесть, пока чиновник перелистывал папку, выискивая мой входящий номер.

— Вам отказано,— сказал он, глядя в папку.

Я убрался восвояси. Каждый решает свои проблемы сам.

22 октября. Я должен действовать решительно, так как меня самого остается все меньше и меньше. Два месяца назад я был всем: старшим научным редактором средневекового сектора, был мужем, отцом, другом и просто самим собой. Дочь отреклась от меня — я уже не отец. Уже не старший научный редактор. Уже не муж. За каких-то семьдесят дней сам я превратился в половую тряпку, столь грязную, что ее неловко положить хотя бы на лестнице перед дверью.

Вчера вечером пришел Костя. Они долго говорили в столовой нарочито усиленными голосами, чтобы Нелли потом могла не заниматься особым пересказом для меня.

— Это необратимый процесс,— говорил Костя.— Он вычеркнут отовсюду. Сдавали сборник. Статья Зиновия стояла в проспекте заглавной — ее вычеркнули. В другом сборнике были его примечания, понимаешь, всего-навсего примечания. Что делать? Сборник же не может быть без примечаний. Тогда зачеркнули его фамилию. Он получил пятнадцать лет как враг народа. Когда он выйдет, ему будет пятьдесят семь лет. Ты на три года его моложе. Как ты будешь жить без него?

— Откуда ты знаешь про пятнадцать лет? — спросила Нелли.

— Нам объявили официально на собрании. Ты молодая женщина, должна жить. Не поедешь же ты за ним в Сибирь. Кстати, еще неизвестно, куда его отправили. Может, он вообще непригоден для Сибири.

— Не говори о нем так,— перебила Нелли.

— Я говорю не о нем, я говорю о тебе. Зиновий выбыл от нас в длительную командировку, но кто будет заботиться о тебе? А твоя дочь? Ты не имеешь права забывать об этом. Если он когда-то узнает об этом, то поймет и простит нас обоих. Это единственно правильный выход. В противном случае у тебя могут отобрать квартиру.

— Домоуправ уже приходил...

23 октября. Ушел из дома с твердым намерением никогда не возвращаться. Разнесу всю Голубянку, но они должны будут взять меня.

С первого же витка мне чертовски повезло, сам не мог надеяться на такую удачу.

Я проник туда!

— Как вы сюда попали?

Ха-ха! Спросите что-нибудь полегче, гражданин следователь.

Я шел по самому дальнему переулку, там всего один подъезд, сугубо служебный, но зато там ворота для грузовика, а это означает, что сюда-то их и ввозят. Правда, мне никогда не доводилось видеть, чтобы ворота открывались, наверное, это делается по ночам, но машины-то ходят и днем: «МЯСО», «ХЛЕБ» — это я сам видел.

И вот очередное «МЯСО» подкатывает к воротам. Карнач нажимает кнопку, а ему из подворотни лают:

— Не работаем. Открывалка сломалась.

Именно в этот момент я прохожу между воротами и фургоном «МЯСО» и определенно чувствую, что в фургоне привезли нечто живое: там раздается шевеление, слышатся невнятные звуки.

Караульный начальник оборачивается ко мне:

— Куда прешь? Проходи. Живо!

Но здесь свободная территория, здесь карнач надо мной не властен, и я стараюсь вписаться в подвернувшийся счастливый случай, другого такого не будет.

До ближайшего от ворот подъезда метров восемь. Услышав, что ворота сломались, карнач решительно шагает в подъезд, давая на ходу знак рукой. Створки задней двери фургона распахнулись, перерубившись на «МЯ» и «СО», оттуда посыпались арестованные, подгоняемые часовыми. А карнач смело открыл дверь служебного подъезда и загоняет нас туда, потому что я уже оказался в цепочке зеков, руки за спину, и в подъезд.

За дверью двое с пистолетами. Пропуска не спрашивают. Счет идет по головам. Они считают и одновременно весело перекликаются со знакомым карначом по поводу сломавшейся открывалки. И меня по головке пригладил:

— Тринадцать.

Я всегда считал это счастливой цифрой. Попадаю в вестибюль. Зеки толпятся у стены, а я нырк за колонну, потом еще дальше, пять ступенек, я на соседней площадке.

— Сколько у тебя было?

— Восемнадцать.

— Я насчитал девятнадцать.

— Пересчитай. Мне лишний рот ни к чему.

— Теперь стало восемнадцать. Но кто-то тут был, говорю тебе.

— Да вот же они все тут, фашисты ...уевы! Двигай, падло, кому говорят.

А я уже за шкафом, нырнул на следующий лестничный марш, забираю в сторону, им меня не видать. На третьем этаже угодил прямо в туалет, переждал. Все было тихо. Теперь я по своей воле отсюда не выйду.

Кто-то вошел в туалет, долго сидел в кабине, сливая в унитаз излишки вопросительных знаков, потом плескался под краном. Была не была. Я вышел из своей кабины и встал с ним рядом. Это был майор. Мы мыли руки.

Майор вышел из уборной. Я за ним. Он прошел до конца коридора, воткнул ключ в дверь. Я за ним. Там оказался другой коридор, еще более длинный.

— Вам куда? — любезно спросил он.

— Комната триста одиннадцать,— ответил я, показывая ему трамвайный абонемент. Майор в трамваях не ездил, и мой документ показался ему весьма авторитетным.

— Я вам объясню, я сам из триста пятнадцатой, это почти рядом.— Видно, ему хотелось поговорить, язык за работой застоялся.

Мы повернули налево, поднялись на его этаж, дошли до его двери. Он кивнул мне:

— Через одну дверь. Но предупреждаю. Там дама.

Я пошел обратно по коридору, вышел на площадку, спустился на этаж ниже, рассчитывая обнаружить еще одну уборную.

Бесшумно двигались лифты, закованные в сетчатую броню, людей было немного, но все страшно озабоченные, спешащие и молчаливые. Большинство в штатском.

О чем они молчат? Или им не рекомендуют вступать в разговоры друг с другом? И колючей проволоки нигде не видать, одни фикусы, очень много фикусов: на подоконниках, в углах лестничных площадок, просто у стен. Сразу видно, за фикусами тут следят с особым рвением, возможно, существует особый ОРФ — отдел разведения фикусов.

Итак, я уже несколько сориентирован в этом замкнутом пространстве, называемом Голубянкой. Совершенно непонятно, почему оно вызывает такой страх в народе. Обычное советское учреждение. Правда, где-то внизу есть подвалы, но они не на виду, и, чтобы попасть туда, надо удостоиться особой чести. И ни одного указателя кругом: где, что, на каком этаже? На дверях лишь номер кабинета. И этого достаточно, чтоб зашифровать Голубянку. Однако никто не путается, не блуждает, все знают, куда следуют.

Я один был тут белой вороной. На меня уже начинали поглядывать. И я пошел в номер 315.

— Вы ко мне? — улыбнулся майор, он был один и снова радовался случаю поговорить.

— В триста одиннадцатой никого нет. Мне сказали, что она на оперативном задании.

— Это у нас бывает. В таком случае вы можете подождать.

— Я с повинной,— бухнул я, полагая, что так будет вернее.

— Растрата? Крупная? — Он улыбнулся еще шире.— Я так и подумал, глядя на вас в писсуаре. Но учтите, я мелкими растратами не ведаю. Только выше ста тысяч.

— Я американский шпион,— ответил я, стараясь не потерять бодрости.

Улыбка на его лице погасла.

— Весьма сожалею, но вы попали не по адресу. Шпионы у нас на четвертом этаже, комната четыреста тридцать семь.

Теперь я действовал уверенно. Без промедления перескочил на четвертый этаж и попал на ковровую дорожку, с помощью которой, создавая видимость благополучия, дезинформировали американских шпионов.

Начал с порога без промедлений:

— Будьте добры. Я с повинной. Американский шпион.

— Каким способом заброшены к нам? — быстро спросил капитан, сидевший за столом и что-то строчивший в вахтенном журнале.

— Я не заброшен, товарищ капитан. Я внутренний шпион. Меня завербовали на территории.

— Тот, кто вас вербовал, как он был заброшен?

— Простите, этого я не знаю.

— Жаль. В таком случае вам надо пройти на пятый этаж, комната пятьсот семьдесят пять. По-моему, они в прошлом году занимались именно вашими вопросами. Однако, я чувствую, ваше дело сложное. Лучше всего будет обратиться непосредственно в ООН.

— Прекрасная мысль, товарищ капитан. Но как в нее обратиться? Вы не поможете мне дать телеграмму в ООН?

— Никакой телеграммы не надо. У нас не она, а он. Это наш ООН, родной и советский, говоря другими словами, Отдел Организационных неразберих, наш ООН в соседнем коридоре, дойдете своим ходом. Сейчас я позвоню туда по внутреннему. Что-то не отвечает. В таком случае сходите на пятый этаж.

№ 575.

— Я американский шпион. Внутренний. Завербован резидентом. Имею серьезное задание, направленное против нашей Родины.

— Какое именно? Диверсия? Подрывная деятельность?

— Я идеологический работник...

— Простите, но мы занимаемся исключительно диверсиями, вам надо в комнату четыреста сорок, но там товарищ в отпуску. Вот если бы это был побег. У меня приятель как раз работает в отделе побегов. Жаловался, что у него нет работы.

— Большое спасибо. А какая это комната?

— Одна тысяча сто двадцать два.

— Большое вам спасибо, вы меня просто выручили. Никогда не думал, что здесь работают такие чуткие, добрые люди.

— Что вы? Не стоит никакой благодарности. У нас сейчас объявлен месячник чуткости.

№ 1122.

— Я совершил побег.

— Когда? Откуда?

— Я из лагеря бежал.

— Простите, но мы занимаемся лишь тюрьмами, вот если бы бежали из тюрьмы, я бы с радостью вас сграбастал, а так не могу, мне запишут вмешательство во внутренние дела. Обратитесь в комнату тридцать три шестьдесят четыре.

№ 3364.

— Я из лагеря бежал.

— Сейчас проверим. Фамилия? Так. Гражданин Лазарев? Из какого лагеря вы бежали?

— Простите, но я там пробыл совсем недолго и не успел запомнить номер. Это где-то на севере, в районе Коми, мы там рубали уголек на шахтах.

— Хорошо. Если вы забыли номер своего лагеря, чего, кстати сказать, делать не следует, мы проверим вас по фамилии, у нас образцовая картотека, видите эти ящики? Занимают двадцать две стены. На каждого зека заводится карточка. Так что мы знаем всех.

— Сколько же у вас всего карточек?

— Мы этим не интересуемся. Главное, чтобы карточки были заведены на всех. Общим количеством занимаются в ООЧе.

— Отдел Общих Чисел? Да?

— Не путайте нас, гражданин. Я уже проверил. К сожалению, ваш побег нами не зарегистрирован. Это означает, что вы не бежали. Ничем не могу вам помочь.

— Я американский шпион.

— Так бы и говорили. В таком случае вам надо в пятьдесят ноль пять. Там майор Бронин. Я могу ему позвонить. Он ждет вас.

№ 5005.

— Товарищ майор, американский шпион Лазарев, завербован внутри, исключительно с целью внутренней подрывной деятельности. Явился с повинной. Надеюсь, это будет учтено при вынесении приговора.

— Очень приятно, гражданин Лазарев,— улыбался майор Бронин вставленными зубами.— Давно ждем вас. Я прямо удивлялся про себя: почему вы не приходите?

— Вот я и пришел. Долго не мог до вас дозвониться.

— Присаживайтесь. Напомните мне, пожалуйста, когда вас завербовали?

— В сорок восьмом, товарищ майор,— отвечал я с бойкостью отличника, радующегося тому, что попался такой легкий вопрос.

— Так, так. Значит, вы утверждаете, что целых три года вы оставались неразоблаченным?

— Так я почти не работал, товарищ майор.

— С кем?

— С резидентом, который меня завербовал.

— Кто же вас завербовал? Вы еще не забыли?

— Мистер Смит.

— Какая редкая фамилия. Это удивительно. Всех американских шпионов вербует мистер Смит. Видно, крепкий парень.

— Я говорю вам правду, товарищ майор.

— Вы и явки можете мне назвать?

— Если вы так настаиваете...

— Значит, так, гражданин Лазарев, идите домой и перестаньте морочить нашим славным органам голову.

— Не понимаю вас, товарищ майор. Вы что, не верите мне?

— И я не понимаю вас, гражданин Лазарев. Или вы полагаете, что майор Бронин не может отличить настоящего американского шпиона от поддельного? Через мои руки этих шпионов, знаешь, сколько прошло? Тысячи и тысячи. Вот бы написать воспоминания. Хотя бы записки майора Бронина. Вот читатель бы уши развесил. Но такой туфты, как твоя, у меня ни разу не было.

— Так я же арестован, товарищ майор. У нас зря не сажают.

— Кто вас арестовал?

— Наш кассир Андрей Степанович.

— А потом?

— Потом на работе был вывешен приказ о моем отсутствии, вернее, выбытии в длительную научную командировку.

— Похоже, ты в самом деле американский шпион, ибо не имеешь ни малейшего понятия, как у нас берут американских шпионов. До самой печенки достаем. Приказ, видите ли, на него вывесили. Это где такие либералы? В «Историческом вестнике»? Я им покажу.

— Меня арестовали, товарищ майор, но при этом оставили на свободе. Уверяю вас, это еще хуже. А вместо меня вами же 10 августа арестован другой человек, мой однофамилец. Но он же невиновный. А про меня все забыли. Это несправедливо. Я буду жаловаться.

— Так-так, гражданин Лазарев. Таким образом, вы пытаетесь убедить органы, что майор Бронин совершил следственную ошибку? Кто же вам поверит? Вот видите эту папку на столе? Именно эту, с розовыми тесемочками. Четыреста сорок листов дела — и без липы. Настоящий шпион Лазарев во всем признался, подписал каждый лист показаний. Вы же приличного резидента придумать для себя не можете. Единственно, что я могу для вас сделать,— это послать вас на медицинскую экспертизу, но я вас отпускаю. Идите на все четыре стороны и навсегда забудьте о том детском лепете, который вы здесь издавали.

А я продолжал лепетать:

— Возьмите меня. Вместо него возьмите.

— Кормить лишний рот? Мы дармоедов не держим.

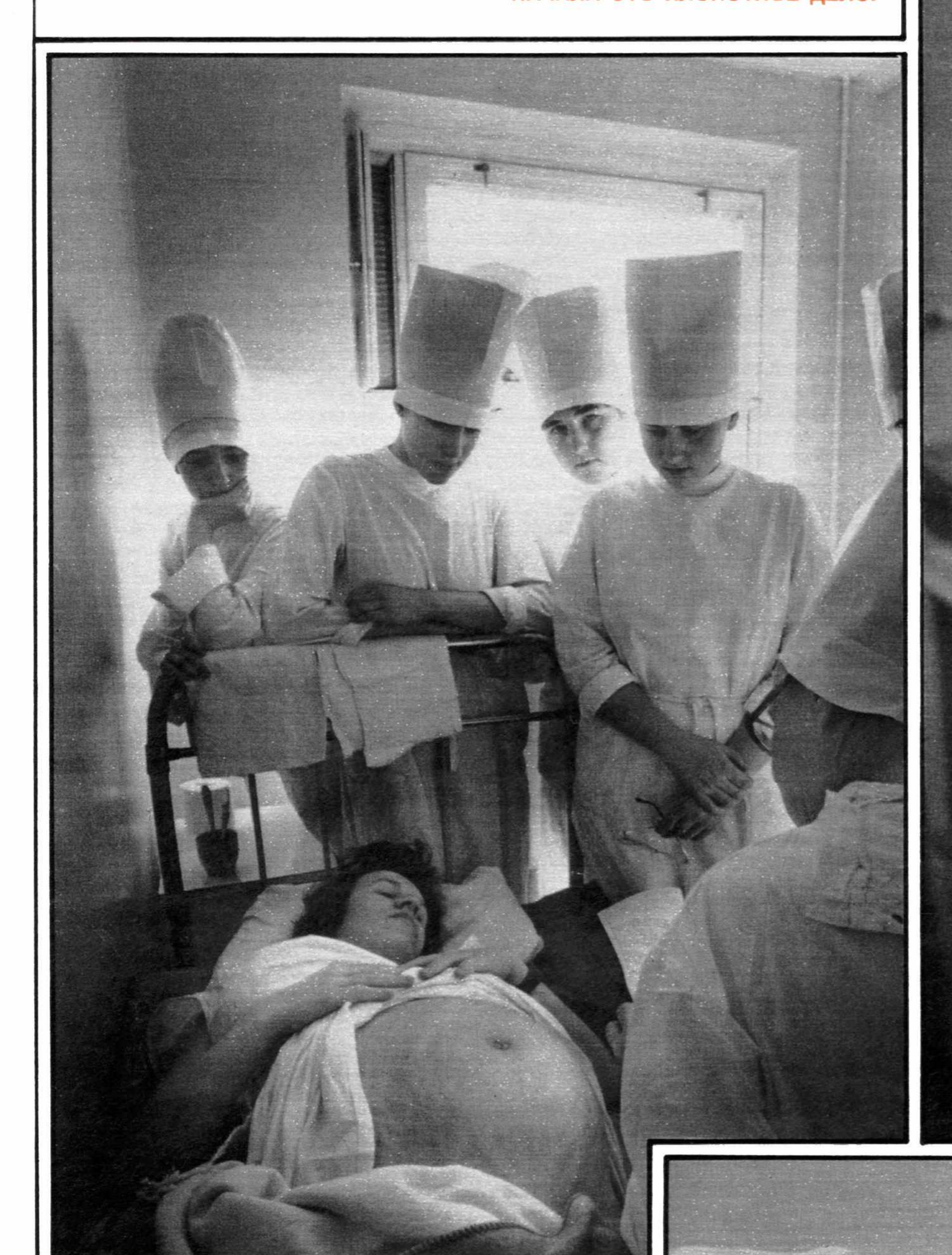
Он довел меня до главного подъезда и дал мне пинка под зад, выбрасывая на свободу. Пинок был такой сильный, что я перелетел через площадь и оказался прямо у телеграфного окошечка.

МОСКВА КРЕМЛЬ ТОВАРИЩУ САМИНУ
ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ САМИН ОТНОШЕНИИ МЕНЯ ДОПУЩЕНА ГЛУБОКАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ТАК КАК Я ОСТАВЛЕН НА СВОБОДЕ ТЧК РОВНО ПОЛГОДА НАЗАД Я ПОСЫЛАЛ ВАШЕ ИМЯ ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ ВАШЕЙ БИОГРАФИИ ЗПТ ОДНАКО ОТВЕТА НЕ ПОЛУЧИЛ И ДО СЕГО ДНЯ НЕ АРЕСТОВАН ТЧК ПРОШУ ВАС ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И АРЕСТОВАТЬ МЕНЯ ТЧК ГЛУБОКИМ УВАЖЕНИЕМ ЗПТ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРНЫЙ ЛАЗАРЕВ ЗИНОВИЙ СОЛОМОНОВИЧ

— Восемнадцать семьдесят,— молвила девица в окошечке, протягивая мне квитанцию, из которой явствовало, что телеграмма отправлена в пятнадцать часов двадцать две минуты...



ВО ДВОРЕ РИЖСКОГО РОДИЛЬНОГО ДОМА № 1 РАСТЕТ МОГУЧЕЕ ДЕРЕВО. ОКНА ВСЕХ РОДИЛЬНЫХ ЗАЛОВ ВЫХОДЯТ ВО ДВОР. СКОЛЬКО МАЛЫШЕЙ УВИДЕЛИ ЕГО ПЕРВЫМ В ЖИЗНИ? ЗНАМЕНИТ ЭТОТ РОДДОМ ВОТ ЧЕМ: ЗДЕСЬ МУЖЬЯ МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ ПРИ РОЖДЕНИИ СВОЕГО РЕБЕНКА. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ АНИТА АДОЛЬФОВНА ЦАУНЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД НАЧАЛА ЭТО ХЛОПОТНОЕ ДЕЛО.



Казалось бы, чем может муж помочь жене при схватках, оглушительной боли, в момент рождения ребенка, наконец? Роды не примет, сам может упасть в обморок! Но единомышленники доктора Цауне считают, что главное, чем оправдано появление отца около роженицы,— это подавление страха, психологическая поддержка, передача энергии, если хотите. Уже проведено около пятидесяти семейных родов.

Но не каждая женщина желает присутствия мужа в этот момент, да и не каждый муж стремится к этому. Многое зависит от их взаимоотношений. Бывали случаи, когда восемнадцатилетние отцы при родах просто с любопытством наблюдали за тяжелейшим процессом.

В те четыре дня, отведенные мне на съемку, как назло, никто не хотел появляться на свет, ну а тем более в присутствии отца. И вот звонок. Доктор Биндаре говорит: «Приезжайте. Будет рожать Илза Штродах. Муж Оскар уже в предродовой палате».

Вот ее кладут на специальный стол. Рядом акушерка, врач и муж. Начинаются мучительные схватки... Вызываются дежурный врач, анестезиолог. Короткое совещание. Медлить нельзя. Неужели операция?

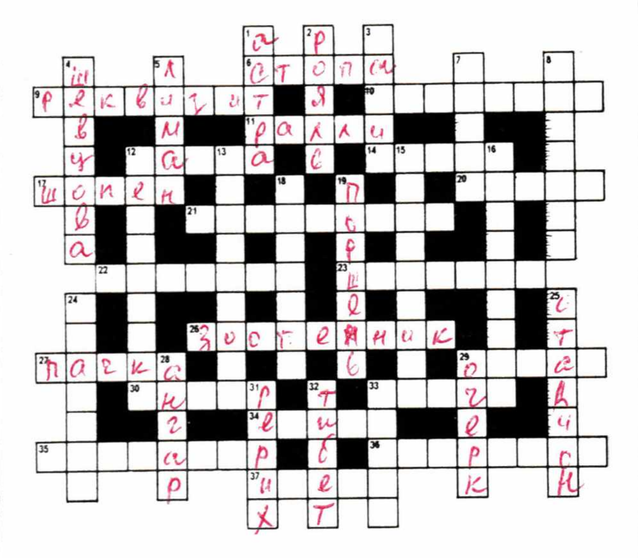
Я так и не понял, кто родил, Оскар или Илза? По-моему, они родили вместе. Пока акушерка обрабатывает ребенка, Оскар о чем-то говорит с женой. Это их третий ребенок. Я не понимаю, о чем они говорят, и спрашиваю об этом доктора Биндаре. «Так, глупости болтают»,— отвечает доктор. «Нет, о любви»,— поправляет акушерка Ингрида.

У семейных родов много и сторонников, и противников. Но несомненно одно: женщина в присутствии мужа в этот момент чувствует себя более уверенно. Во время родов женщина один на один со своим страхом, болью, надеждами. Но рядом — любимый человек...

Юрий ФЕКЛИСТОВ
Фото автора

РОЖАЕМ ВМЕСТЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Повторяющаяся ритмическая единица стиха. 9. Вещи, необходимые актерам по ходу действия спектакля. 10. Торжественное открытие выставки. 11. Спортивные соревнования на автомобилях, мотоциклах по определенному маршруту. 12. Водоплавающая птица. 14. Сборник стихов одного поэта в классических литературах Востока. 17. Выдающийся польский композитор и пианист XIX века. 20. Греческий поэт, участник движения Сопротивления, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». 21. Романс М. И. Глинки. 22. Эластичная часть пера птицы. 23. Персонаж оперы Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана». 26. Бабочка. 27. Пышная юбка балерины. 29. Животновод. 30. Симфоническая сюита Н. А. Римского-Корсакова. 33. Денежная единица Замбии. 34. Пристань на реке Кура в Азербайджане. 35. Литературный герой сатирических очерков М. Е. Салтыкова-Щедрина. 36. Прибор для точного определения темпа исполнения музыкального произведения. 37. Город в Колумбии.



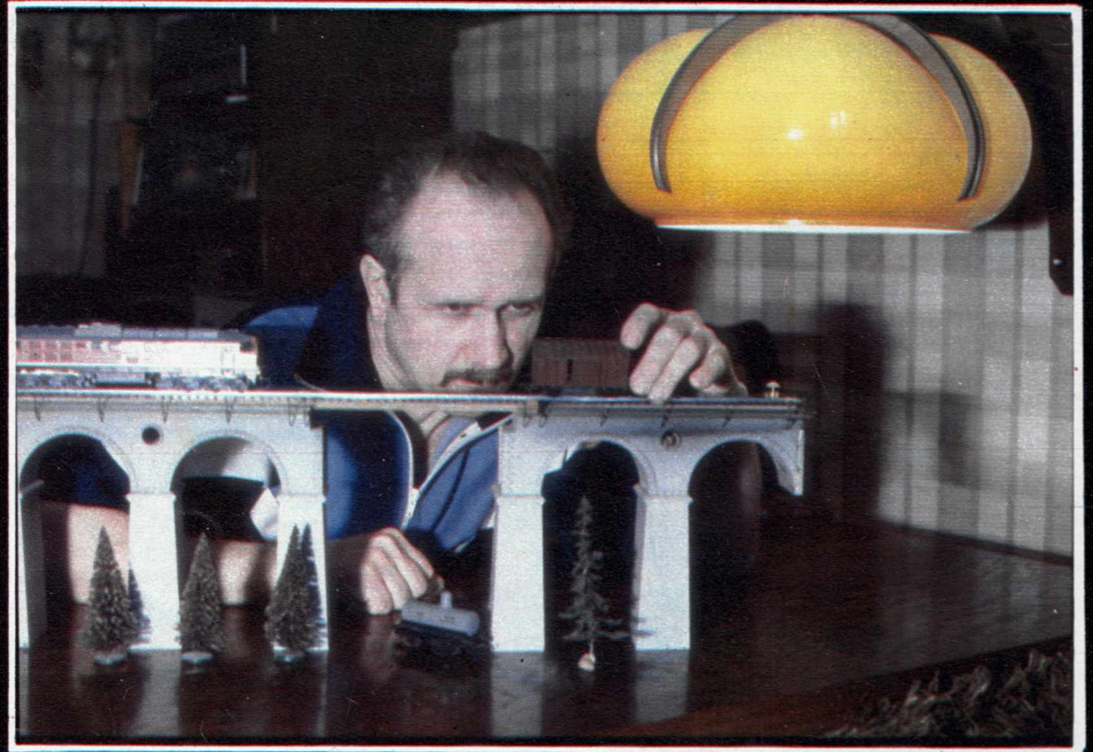
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Садовое декоративное растение, цветок. 2. Разновидность фортепьяно. 3. Живописец, организатор художественной жизни в годы Великой французской революции. 4. Одна из руководителей «Молодой гвардии», Герой Советского Союза. 5. Залив с извилистыми невысокими берегами. 7. Магнитный сплав. 8. Певица, выступавшая в Большом театре, народная артистка СССР. 12. Небольшая гармонь. 13. Стихотворение А. С. Пушкина. 15. Советский экономист и историк, академик. 16. Советская писательница, автор романа «Битва в пути». 18. Вид народного танцевального искусства, сочетающего движение по кругу с переплясом и песней. 19. Деталь двигателя, компрессора, насоса. 24. Советский летчик-космонавт. 25. Комплексное спортивное сооружение. 28. Сооружение для технического обслуживания, ремонта самолетов и вертолетов. 29. Разновидность документального рассказа. 31. Русский живописец, театральный художник, археолог, живший в Индии. 32. Горная система на территории СССР, МНР, Китая. 33. Представитель основного населения Кампучии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 19

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Говоров. 6. Токарев. 8. Матросов. 9. «Накануне». 12. Кодай. 15. Ваттметр. 17. Имитация. 19. Нонпарель. 22. Авангард. 23. Мандарин. 25. Инжир. 28. Мурманск. 29. Пилястра. 30. Яркость. 31. Левитан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фотосинтез. 2. «Молох». 3. Топаз. 4. Кавалькада. 5. Гладков. 7. Венеция. 10. Корреспондент. 11. Радиоприемник. 13. Гектограф. 14. Сицилиана. 16. Аксаков. 18. Иравади. 20. Венецианов. 21. Трансляция. 22. Арагуая. 24. Нейтрон. 26. Осетр. 27. Кисея.

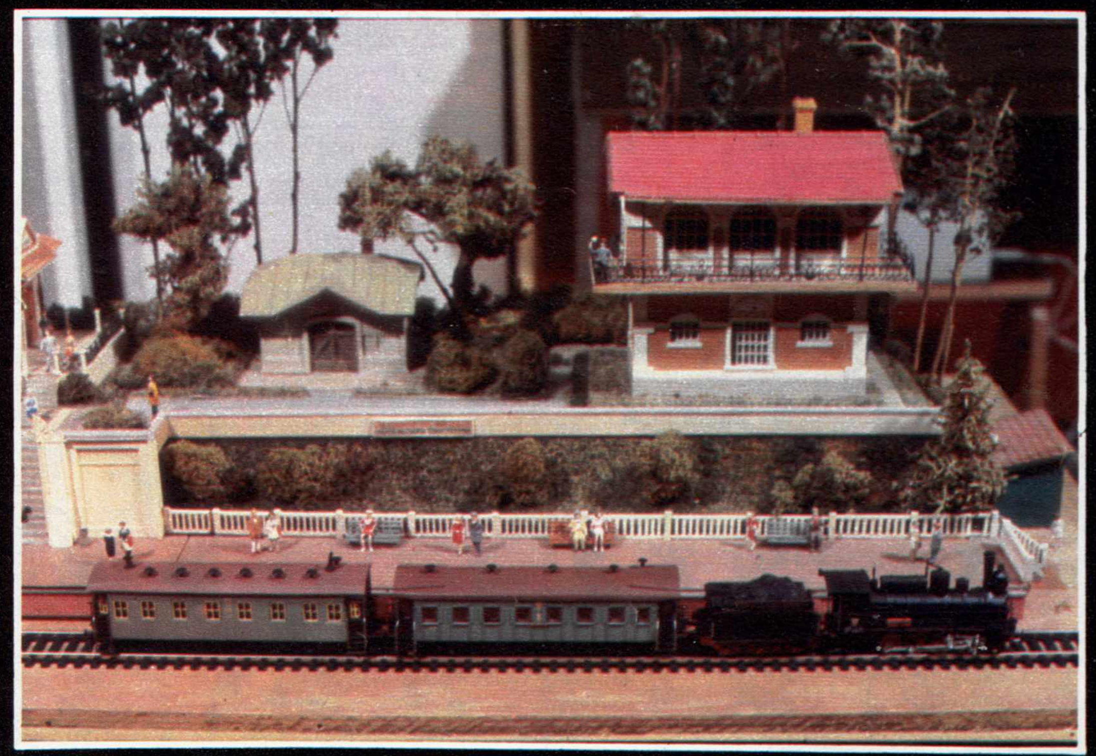
КРОССВОРД



В Центральном Доме культуры
железнодорожников
есть клуб любителей
железных дорог.
Члены клуба строят действующие
макеты железнодорожных веток России.
Благодаря их трудам
вы сможете увидеть,
как выглядели в начале века
станции Воробьевы Горы,
Братцево, Рязанско-Уральская дорога,
поразитесь скорости миниатюрных
паровых машин и
современных локомотивов.
Подобные клубы
существуют
в Ленинграде, Киеве,
Харькове, Риге, Таллинне.
Много их за рубежом.
На ежегодных международных
соревнованиях железнодорожных
моделей советские участники
неизменно занимают
призовые места.
У нас в стране выставки
железнодорожных моделей
проходят не так часто,
как можно было бы их устраивать.
А ведь это занятно
да и познавательно и для детей,
и для взрослых.

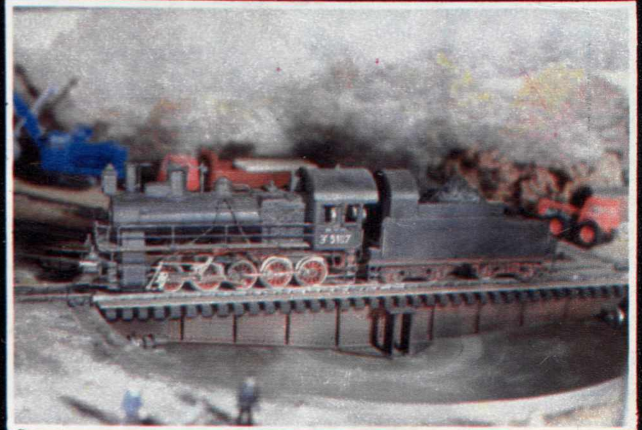
И. ЧИКОМАСОВА

Фото
Сергея
ПЕТРУХИНА










40 коп.
Индекс 70663

